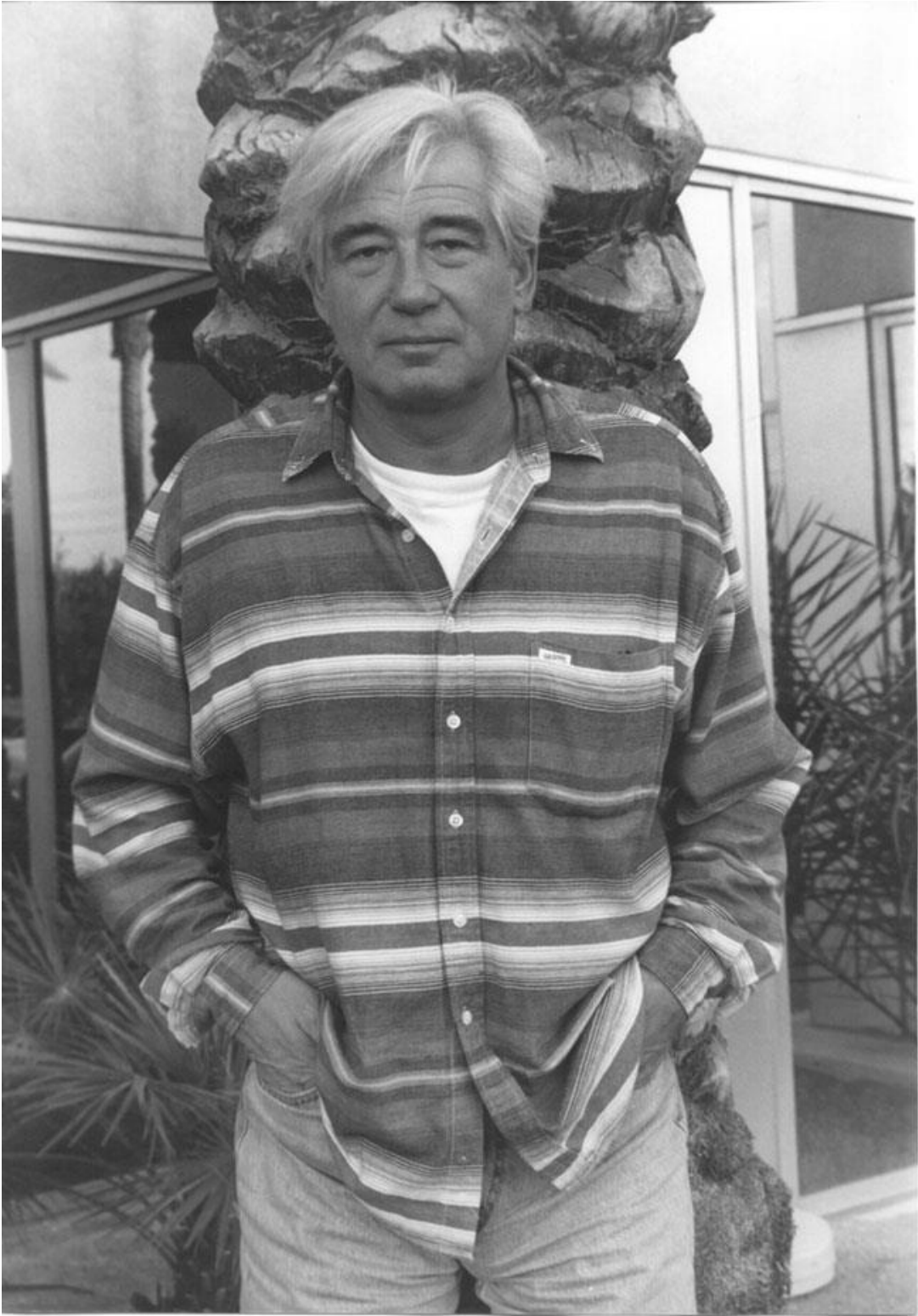


Александр Жолковский
НЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА
в 27-ми виньетках





*

ИЗ КНИГИ «ЭРОСИПЕД»

Очерки бursы

Школу полагается ненавидеть; у меня этого не было. Я посещал её охотно и благодарен ей за немногие прочные знания. Проблематичность школьного опыта дошла до меня не сразу.

1. Мальчики

В средних классах литературу преподавал высокий, плотный, в потёртом щегольском костюме Алексей Дмитриевич К-ов. Его приветливое, но какое-то голое лицо с большой румяной бородавкой стоит у меня перед глазами. На его уроках требовалось выйти к столу и, руки по швам, бодро рапортовать об образе Онегина или идейном содержании «Муму».

– Сейчас мальчик такой-то расскажет нам образ Онегина. Встаньте прямо, мальчик такой-то. – Он брал ученика за плечи, расправлял их, проводил вниз по его рукам, разворачивал его к классу. – Вот так. Ну, теперь отвечайте образ Онегина.

О нём, кажется, ходили соответствующие слухи, но в моё сознание они как-то не проникали. Его любимцем был Володя Дж-дзе, рослый, красивый, старательный. Вызывая Володю, Ал. Дм. исполнял ритуал объятий, замаскированных под уроки выправки, с особой нежностью.

– Сейчас мальчик Дж-дзе, – Ал. Дм. смаковал каждый из четырёх слогов этой шикарной фамилии, – прочитает нам наизусть стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». Оглаживая и поворачивая Володю, он добавлял:– Вот какой у нас отличный ученик, мальчик Володя Дж-дзе.

Я был более бесспорным отличником, но на подобное special treatment претендовать не мог. До восьмого класса я был щупл и непрезентабелен. «У тебя только и есть, что чистенькое личико», – вздыхала мама. Впрочем, никаким драматическим унижениям я не подвергался (если не считать позорного поражения в драке – «стыкнемся?!» – с одним из слабейших одноклассников), тем более что имел покровителя в лице пышущего энергией Миши Р-сйна.

На переменах Миша взхлёб пересказывал мне очередные главы из «Трёх мушкетеров» и бесконечных лет спустя. Самые яркие места он воспроизводил дословно:

– О, женщины! Кто поймёт их?! Вот женщина хочет мужчину, и вот она уже хочет его!! – вскричал Портос и поскакал прочь. – Но это не исчерпывало Мишиного напора, и он то и дело хватал меня за грудки со словами: – Ты понял это, маленький уродец? Ведь ты же знаешь, что я всё равно тебя убью?!

Соперничество с Володей Дж-дзе продолжалось до окончания школы, но было напрочь лишено сюжетной остроты. (В итоге оба кончили с золотыми медалями.) Настоящим вызовом моему лидерству стало появление в классе ученика по фамилии Ш-нь. Он был детдомовцем из Белоруссии, жил у дальних родственников и носил всегда одну и ту же серо-зелёную сиротскую одежду с большим красным галстуком поверх

курточки. Он шепелявил, походил на Буратино, но назвать его «маленьким уродцем» язык ни у кого бы не повернулся – жестокость далась бы слишком дёшево.

Ш-нь тянулся изо всех сил, получал пятёрку за пятёркой, я же с аристократической небрежностью позволял себе и четвёрки. Мама не могла этого слышать. У неё были твёрдые взгляды на всё, в частности на элитарность.

– Ты из профессорской семьи, у тебя отдельная комната и стол для занятий, и ты просто не имеешь права учиться хуже того, у кого нет таких условий.

Беспризорный Ш-нь в дальнейшем опять куда-то переехал, и соревнование прекратилось, но мамины прецеденты остались при мне.

2. Вечно женское

Школа была мужская – образование оставалось отдельным, хотя где-то существовали и смешанные школы. (Когда пришло время записывать меня в школу, мама спросила, в какую я хочу: где одни мальчики, или где мальчики и девочки? Где одни девочки, отвечал я.) В старших классах начались совместные вечера с женскими школами, но и в ранние годы интерес к сексу задавался не одним только монастырским гомоэротизмом Алексея Дмитриевича. Волнующее *das ewig Weibliche* присутствовало; его воплощением была преподавательница начальной школы Анастасия Ивановна.

Она вела не наш, а один из соседних классов, но своей учительницы я не помню, помню только её. Она была полновата, с большими глазами, дугообразно выщипанными бровями, пробором посередине и симметрично уложенными косами; её лицо напоминало бабочку. У неё был, как я теперь понимаю, слащавый мещанский выговор. Говорила она размеренно, видимо, стараясь казаться изящнее и интеллигентнее, чем была. Её с удовольствием слушались.

Она жила в здании школы, у неё был муж-офицер, но школьный фольклор упорно связывал её то с одним, то с другим из преподавателей, одно время – с приклатнённым, похожим на мартышку физкультурником. Кто-то из нас прослышал, что по утренней походке женщины можно определить, чем она занималась ночью, и иногда мы, с риском быть застигнутыми завучем вне класса, дежурили после звонка у лестницы, чтобы подсмотреть, как будет ставить ноги идущая на первый урок Анастасия.

Старшие ребята позволяли себе и более прямые, разумеется, чисто словесные, посягновения. «На Асеньке я бы попрыгал», – авторитетно заявлял многократный второгодник Валера З-в. Мне такое в голову не приходило, но облик Анастасии Ивановны ушёл на дно моего подсознания, откуда определил, полагаю, не один любовный выбор. Задним числом я бы возложил на неё ответственность за мои скифские вкусы, как на маму – за семитские.

3. Уроки Октября

Верховную власть представлял директор школы Фёдор Иванович Ш-в, по прозвищу Колобок. Он был лыс, кругл, невысок ростом, и хотя страх быть вызванным к директору традиционно висел над нами, я не припомню особых строгостей с его стороны.

Помню другое. Если заболел кто-нибудь из учителей и его некому было заменить, на помощь приходил Колобок. Делал он это ровно одним способом. Сославшись на своё былое амплу историка, он рассказывал, как «на VI съезде партии,

летом 1917 года, когда встал вопрос о переходе от мирного периода развития революции к немирному, товарищ Сталин задал троцкисту Преображенскому вопрос: ...». Каверзный вопрос товарища Сталина выветрился из моей памяти, хотя слушал я каждый раз с удвоенным интересом, потому что товарищ Сталин был жив и боготворим, а сын троцкиста Преображенского под другой фамилией проживал в нашем доме.

Олицетворял власть директор, но настоящий страх внушал не он, а завуч, молчаливая седая женщина в очках, по имени, кажется, Зинаида, отчества не помню. Вообще, я ничего о ней долгое время не помнил, пока где-то в 70-е годы не прочёл книгу корреспондента «Нью-Йорк Таймс» в Москве Хедрика Смита «The Russians». В этом поразительно адекватном этнографическом компендиуме нашей туземной жизни целый раздел был посвящён советской школьной системе – на основании опыта собственных детей, специально отданных Смитом в разные московские школы. Мне открылась мрачная картина унифицирующего угнетения юных душ, в которой я не мог не узнать своего вытесненного прошлого. Я вдруг вспомнил два сна, мучавших меня на протяжении многих лет, а потом успешно забытых.

В одном я якобы проболел больше месяца, страшно отстал по алгебре, грядёт контрольная, я к ней не готов и просыпаюсь в холодном поту. В другом, времён начальной школы, я должен был после летних каникул явиться в школьную библиотеку и признаться в потере двух книг, взятых на лето, но страх, что библиотекарьша отправит меня к завучу, заставлял бесконечно откладывать явку с повинной.

В результате, я не помню ни имени отчества математички, ни отчества завуча, ни какого-нибудь их словечка, ни чьего-нибудь словечка о них, как ничего не помню и об учительнице четырёх начальных классов.

Маму помню ясно – тут Фрейд бессилён.

What's in a name?

У меня было двое друзей-сверстников по имени Феликс. В Америке это не очень солидное имя – так обычно зовут котов (по контаминации лат. *felix*, «счастливый», с англ. *feline*, «кошачий», в том числе в смысле биологического вида); в России же за ним долгие годы однозначно слышался Дзержинский.

У одного Феликса (Д.) отец действительно, ещё со времён ЧК, служил в органах. Судя по рассказам Феликса, он был садистом на работе и дома, и Феликс носил в себе отпечаток этого опыта. Возможно, отсюда его неуживчивость и сравнительно ранняя смерть (в пятьдесят два). Но у другого Феликса (Ф.) отец был физик, да и вообще советская ономастика – вещь тонкая, колебавшаяся от года к году вместе с линией партии. Не исключено, что в 37-м Дзержинский мог для кого-то по-эзоповски символизировать не органы как таковые, а их ранний, «чистый», «рыцарский» (в противовес ежовскому) имидж.

Помню, как в начале перестройки, году в 87-м, у нас в USC (Университете Южной Калифорнии) выступал представитель советского Министерства культуры, некто Генрих П., по виду и замашкам типичный гэбист, но, так сказать, с человеческим лицом, которое, впрочем, сидело на нём немного криво. Во время доклада он держался со мной, эмигрантом-антисоветчиком, настороженно, но вечером на парти, видимо, решил навести мосты. Мы разговорились. На вопрос, где он так хорошо выучил английский, он ответил, что учился в Рангунском университете. Он явно имел в виду блеснуть мировыми

масштабами своего образования, мне же, естественно, бросилась в глаза его принадлежность к выездной прослойке.

– Это в какие же годы? – спросил я.

– В середине 50-х. Ведь мы с вами, наверно, однолетки.

– Я думаю, – сказал я внятно, – что вы минимум на год старше. Я тридцать седьмого года рождения.

Намёк он, видимо, понял, потому что набиваться в друзья перестал. Действительно, откуда у русопятого и, весьма вероятно, потомственного партработника импортное имя Генрих? Вряд ли от Гейне; скорее всё-таки от Ягоды, в 36-м снятого с должности главного чекиста и в дальнейшем расстрелянного.

Феликс Ф. появился в нашей 50-й школе поздно, классе в восьмом. Он был крупный, внушительный, развитой. Он уже твёрдо знал, что станет физиком. От него я впервые услышал имена Дирака и Гамова. Мы подружились.

Я был круглым отличником и признанным интеллектуалом номер один нашего класса. Моей популярности способствовало то, что я не был учительским любимчиком, со своими знаниями не высовывался, сидел «на Камчатке» среди второгодников, и давал списывать. Но с появлением Феликса я стал смотреть ему в рот, сразу признав в нём старшего. Сохранился снимок, где мы сидим на одной парте – задней в среднем ряду.

Старшим Феликс был и потому, что уже летом после 9-го класса, то есть, в 16 с небольшим, имел роман с «настоящей женщиной», женой отбывшего за границу дипломата. Феликс немногословно поделился этой новостью со мной, совершенно ещё невинным юнцом.

Смерть Сталина застала нас в 9-м классе. Её осмысление, тем более официальное, наступило далеко не сразу, но Феликс каким-то образом, видимо, почувал перемену. Так или иначе, он стал первым встреченным мной в жизни диссидентом. Диссидентом в миниатюре и *avant la lettre*, но вполне типичным – пострадавшим за литературную деятельность.

В конце учебного года обычно задавалось сочинение на тему «Как я провёл майские праздники». Первомай 1953-го был первым после смерти Сталина, и Феликс написал что-то вольное, смешное, веселее – про то, как валяли дурака на демонстрации и после. Прямой антисоветчины там не было, но крамольным было уже само нарушение канонов этого самого массового из соцреалистических жанров.

Расправа последовала незамедлительно. Инициативу взяла на себя наша классная руководительница, англичанка Лидия Филипповна. Я хорошо помню её извилистый нос, стержневое лицо и инквизиторские манеры. Меня она не любила – отчасти, наверно, потому, что английский я знал лучше неё, отчасти потому, что я не входил в круг тайных клеветов, собиравшихся у неё дома выпивать и наушничать.

Феликсу было предложено перед всем классом отречься от своего сочинения, но он продолжал его отстаивать как в худшем случае безобидную шутку. Тогда на него повели массивное идеологическое наступление, наверно, заранее срежиссированное Лидией, а впрочем, столь стереотипное, что мысль о специальном сговоре мне тогда в голову не пришла.

Выступил и я. Выступил, мысленно любуясь адвокатской зрелостью своего примирительного рассуждения о том, что, с одной стороны, большого политического греха в сочинении Феликса я не вижу, а с другой – что ему, конечно, следует овладеть

элементарными правилами общежития: так, в помещении не принято сидеть в шапке, а в первомайском сочинении – нести дешёвую жеребятину.

Но Феликс не покаялся, и на голосование был поставлен вопрос об исключении из комсомола. Предложение прошло единогласно, то есть, за него спокойно поднял руку и я! Голосовать против – «против советской власти» – такого я помыслить не мог.

Лишь постепенно я научился стыдиться этого поступка, дал себе слово в сходных ситуациях быть на высоте и в конце концов преуспел в этом настолько, что и сам стал подвергаться единогласным отлучениям. Феликс же на меня тогда не обиделся, как не внял и моим нравоучениям: несмотря на всю искущённость моей проповеди социальной адаптации, в нашей дружбе я оставался младшим партнёром. Каким-то образом исключение не помешало ему в следующем году поступить в желанный вуз (Инженерно-физический), успешно окончить его и по распределению остаться в Москве, в одном из ядерных институтов.

Однако он и тут уклонился от стандарта – завербовался на метеостанцию где-то на Камчатке. Там он жил совершенно уже джеклондоновской жизнью, охотился, ездил на собаках, выходил в море на байдарке стрелять уток. Один раз он приехал в отпуск, примеривался остаться в Москве, женился, но на следующий год уехал снова. Его там уже так хорошо знали, что пограничники позволили ему выйти в море перед началом шторма, хотя и предупреждали об опасности. Байдарка перевернулась, и на берег его вынесло уже мёртвым.

Цинковый гроб с его телом долго в жару ехал с Дальнего Востока поездом. На похоронах я впервые увидел его отца – седого, надломленного, но очень на него похожего и похоже говорившего. Это произошло, я думаю, летом 1961 года, то есть, нам было по 24. Но он уже успел побывать моим старшим другом, чуть ли не отцовской фигурой (даже погиб он почти так же, как мой родной отец, утонувший, переплывая на байдарке Белое море), успел немного наворожить мне («В своей области ты будешь известным человеком»), а главное – преподать первый урок аутсайдерства. Вопреки советской символике своего имени, он выступил в роли жертвы, а не карателя («железного Феликса»), каковым оказался скорее я, не справившийся с программой, закодированной в моём (Александр – «защитник мужей»). Свою короткую жизнь Феликс, «счастливый», прожил, как хотел.

А и Б

Поступив на филфак (1954 г.), я обнаружил среди студентов своей английской группы соученика по школе, Витю С. По школе, но не по классу: он учился в классе «а», заповеднике гениев, а я – в плебейском «б», где к гениям отношение было подозрительное. Как-то раз наша классная руководительница тоном выговора заметила мне, что по своему складу я больше подхожу к «а», и она может позаботиться о моём туда переводе, понимай – изгнании. Дело это, однако, дальше не пошло, и я окончил школу, хотя и с золотой медалью, но с неизбывной печатью класса «б».

Началось всё это тем летним днём 1944-го года, когда мама повела отдавать меня в школу. Поступавших в первый класс было много – более двухсот человек, которых, наскоро прикинув уровень их умственного развития, распределяли по классам, от «а» до «д». Завуч спросила маму, считает ли ребёнок до ста. Мама, поколебавшись, ответила

утвердительно, полагая, что со сложением и вычитанием в пределах ста я как-нибудь справлюсь; насчёт умножения и деления полной уверенности у неё не было. Завуч, имевшая в виду всего лишь умение продекламировать числовой ряд: «один, два, три... девяносто девять, сто», покачав головой, зачислила меня в 1-й «д», и вся моя школьная жизнь прошла среди хулиганов и двоечников, которые, впрочем, неуклонно отсеивались, так что к выпускному финишу пришло два класса по тридцать человек – 10-й «а» и 10-й «б».

Общность школьного происхождения сближала нас с Витей, и на факультете мы первое время держались вместе. Мужское население филфака немногочисленно, зато каждый считает себя гением и культивирует свою оригинальность. Вите это давалось без труда. У него были большие, красивые, но разные глаза – один коричневый, другой зелёный. Уже в школе он носил костюм и галстук. Он курил трубку и умел пить коньяк (его отец был директором – метрдотелем? – ресторана). Он непринуждённо перемежал свою речь словами «душа моя» и «голуба». К урокам он не готовился, лекции пропускал, был невозмутим и молчалив, а когда высказывался, то ронял что-нибудь уайльдовское. Как-то позднее, курсе на втором или третьем, он сообщил мне, что только что разошёлся со своей подружкой, и на мой вопрос, где же она, произнёс: «Оне пошли бросаться под машины».

На филфаке было принято, что кафедры вывешивали темы предлагаемых курсовых работ у входа на третий этаж (мы учились в старом университетском здании, Моховая 11). Стены напротив лестницы, сами двери этажа и стены коридора за дверьми были покрыты листами бумаги с отпечатанными на машинке названиями тем. Меня, зелёного первокурсника, эти списки и страшили, и влекли, – я читал в них вызов своему честолюбию.

– Витя, – сказал я, – давай пойдём на кафедру, выберем темы...

– Зачем, душа моя?

– Как зачем? Чтобы попробовать свои силы в науке, добиться результатов, завоевать уважение...

– Это тебе, душа моя, чтобы уважать себя, нужно писать курсовую, а я себя, голуба, и так уважаю.

Ни на какую кафедру мы тогда не пошли, без курсовых же, разумеется, не обошлось. Впрочем, филологом Витя не стал (это особая история), психологом же оказался неплохим. До сих пор я всё что-то пишу, стараясь заслужить собственное уважение, но с переменным успехом, ибо ходить «на кафедру» так и не научился и по-прежнему обретаюсь в разного рода учреждениях класса «б», – хотя, вроде бы, больше подхожу к «а».

Против инварианта не попрёшь.

Мат в четыре хода

Как клопы проverbsиально ползут в приличную квартиру от соседей, так непристойностям мальчик из хорошей семьи научается от ребят с улицы. Впервые это произошло со мной в эвакуации, в четырёх-пятилетнем возрасте, на ВИЗе, где главными авторитетами по всем вопросам для меня стали заводские Витька и Вовка.

– Папа! А что быстрее? Если трамвай поедет или если Витька изо всех сил бросит камень?

Витька и Вовка не только бросали камни, но и матерились с заразной непринуждённостью, и обе привычки сохранялись у меня первое время по возвращении в Москву (в августе сорок третьего). Я бил стёкла в нашем солидном кооперативном доме и к ужасу родителей поражал интеллигентных гостей внезапными фейерверками мата.

Но ещё до поступления в школу это прошло – забылось начисто, как забылись начатки немецкого, которому меня учила папина мама «тетя Роза» (бабушкой она именоваться не желала), когда, боля то ли корью, то ли скарлатиной, я, как в изоляторе, жил у неё). Немецкий я потом плоховато выучил в университете, матом же – вместе с распознаванием социальных ситуаций его применимости – быстро овладел ещё в школе и родителей им больше не беспокоил.

Следующий качественный скачок произошёл почти тридцать лет спустя. Роль соседского хулигана-сквернослова сыграла на этот раз юная, на 15 лет моложе меня, красотка, с которой у меня был бешеный роман горячим летом 1972 года. Она была из богемных, слегка подпольных, киношно-художественно-поэтических кругов, где матерились с интеллектуальным шиком и без каких-либо гендерных различий. Мне пришлось трудно. С пониманием, естественно, проблем, не было, произношение же долго не давалось – при дамах слова буквально застревали в горле, я стыдливо краснел, надо мной смеялись. Но чего не сделаешь ради любимой женщины, да и почему бы не овладеть ещё одним языком культуры, ещё одним светским этикетом? Вскоре дело пошло на лад, и я заговорил неотличимо от аборигенов.

Кстати, это была та же компания, где вращался Лимонов. Я сразу оценил его стихи, а когда в 1979-м из-за границы появился «Эдичка», – и прозу. Встречи продолжились в эмиграции, я писал о нём – и о стихах, и о прозе, но не о той революции, которую он произвёл в русском литературном языке введением мата и которая с тех пор победила полностью и окончательно.

Фокус состоял в употреблении «нестандартной лексики» не только в речи персонажей, по сексуальным поводам и ради эмоционального усиления, но и в самых, так сказать, метафизических целях (пушкинская параллель здесь правомерна):

В русской эмиграции – свои мафиози... Мафиози никогда не подпустят других к кормушке. Х*я. Дело идёт о хлебе, о мясе и жизни, о девочках. Нам это знакомо, попробуй пробейся в Союз Писателей в СССР. Всего изомнут. Потому что речь идёт о хлебе, мясе и п**де («Это я – Эдичка»).

Восстановили нас против советского мира наши же заводилы, господа Сахаров, Солженицын... Ну мы и **йнули все в западный мир, как только представилась возможность. Х*йнули сюда, а увидев, что за жизнь тут, многие **йнули бы обратно..., да **й-то («Это я – Эдичка»).

Внезапно, прилетев из прошлого, перед ним, заслонив молодые деревья и корты, появилась её п**да меж раздвинутых ног... У некоторых она розовая, у других – красная, у Мэрэлин, вспомнил он, серая. Знаком американского доллара, расклеившись, п**да Мэрэлин висела в небе, и сидели, как в кинозале, глядя на неё, Эдвард и Мэрэлин. За десять лет п**да не состарилась нисколько, но задорная испуганность исчезла с лица п**ды. Её сменило выражение подавленной испуганности. Можно было безошибочно угадать, что это п**да жены индустриалиста, матери двух мальчиков, а не п**да Мэрэлин по кличке «Балерина» («Дождь»).

«Лицо п**ды!» Лимонов повлиял на меня во многом, в частности, и в этом. В свои филологические и мемуарные тексты я стал вкраплять матерные цитаты. На фоне интеллигентного контекста они, надеюсь, смотрятся неплохо. Но виртуозной полифонии мата от первого лица мне учиться и учиться.

Пока что, в порядке первого урока, я усилил выразительность одного из приведённых пассажей – как бы это сказать? – на один **й. Вот, кстати, задачка по стилистике для читателя.

Яблоко или гулять?

«Ты что больше любишь – яблоко или гулять?» – спрашивает малыш – «Какие у тебя глупые разговоры», – отвечает Вересаев. – «Да-а, я умных-то разговоров не знаю, а поговорить-то с тобой хочется».

Кумиром нашего дворового детства был высоченный красавец Володя – будущий книжный график В.В. Медведев, оформитель книг Ахматовой, Вознесенского, Ахмадулиной. Все знали, что он ходит играть в волейбол на «Динамо», и я и сейчас ясно вижу, как он с чемоданчиком в руке, в синей с лампасами динамовской форме, идёт через двор подчёркнуто сутулой спортивной походкой.

В играх малышни он не участвовал, но как-то раз столкнулся с её проблемами. Через пустырь от нашего «еврейского» кооператива располагались бараки первых метростроевцев. С бараковскими ребятами у нас периодически возникали пограничные конфликты, доходившие до камнеметания, и однажды под огонь чуть не попал Володя, возвращавшийся из города с неизменным чемоданчиком. Воспользовавшись моментом и положившись на масштабы своего авторитета, он решил открыть в истории враждующих дворов новую страницу.

Он поднял руку, и бой прекратился. Заворожённые присутствием легендарного Володи, бараковцы приблизились на расстояние слышимости, а мы сгрудились за его спиной. В руке у него оказался футбольный мяч, который мы гоняли до перестрелки. Держа его перед собой, как державу, Володя этаким Владимиром Мономахом и Генрихом IV заговорил о бессмысленности наших распрей. Помню его кульминационный риторический ход:

– Один двор – один **й, даже забора нет (читай: *Une foi, une loi, un roi*, «Одна вера, один закон, один король»).

Мы, дряблая интеллигенция, были заранее согласны замирииться, бараковцы же слушали со смешанными чувствами: несмотря на гипнотическое действие Володиной харизмы, они время от времени издавали инстинктивное «у, евррр..!». Володя, до получения паспорта носивший материнскую фамилию Розенберг, дипломатично пропускал эти сдавленные рыки мимо ушей. Перемирие было достигнуто, и он удалился, шикарно сутулясь.

На следующей неделе военные действия возобновились. Золотое компромиссное слово оказалось изроненным втуне.

А недавно Володя умер – лет семидесяти. Но до этого я его повидал, и мы впервые в жизни немного поговорили.

Бывая летом в Москве, я хоть раз навещаю в наш двор, обычно на велосипеде. Сделал я это и в девяносто восьмом. Я подъехал со стороны пустыря и как раз оценивал взглядом солидность окружившего дом железного забора, когда из-за него донёсся нежно-покровительственный, как бы отеческий, голос:

– Что, Аленька, домой приехал?

Это был Володя, седой, сильно сдавший. Он комфортно сидел на раскладном брезентовом стуле среди разросшейся зелени, вокруг бегала прогуливаемая породистая

собака. Володю всегда отличал высокий класс. У него были фирменные, писательского происхождения жёны, и книги он делал тоже отборные. Разговорившись, он рассказал нечто трогательное, причём в масть моему эмигрантству, – как он уже после перестройки работал на книжной выставке за границей, и к нему в секцию зашёл сам Илья Кабаков. Сначала Кабаков его не заметил, но когда он назвал его «Толей» (своим именем, известным узкому кругу), тот обернулся, узнал Володю, и они поговорили. Про яблоко или гулять – какая разница?

ИЗ КНИГИ «ЗВЁЗДЫ...» (2008)

Мама, или Как важно не читать «Что делать?»

Сегодня маме стукнуло бы 101, но она умерла ровно посередине, в 50 с половиной. Не знаю, как сложились бы наши отношения, если бы она не умерла, когда мне ещё не было семнадцати. С раннего детства она держала меня очень строго; я корчился, но не восставал. Как показало дальнейшее, власть я переношу с трудом, чём во многом обязан маме – и большевикам.

В школе я учился на отлично, а дома – музыкой – занимался из рук вон плохо. Учителей меняли, но дело не подвигалось. В конце концов, после шестилетних мытарств, когда я уже разучивал сонаты Бетховена, мама разрешила бросить, добавив: «Скоро пожалеешь». Я бросил, через три года, ещё не окончив школу, пожалел и потом долго не мог понять, почему так сопротивлялся. Задним числом полагаю, что я тогда подсознательно нащупал слабое место в маминой силовой структуре: плохо учиться в школе было бы прямым вызовом, этого я не посмел, а вот саботировать факультативную игру на рояле оказалось позволительным.

Твёрдо определялся и мой круг чтения. Классе в пятом все взахлёб читали шпионские боевики Ник. Шпанова – «Заговорщики» и «Поджигатели». Это была густопсовая сталинская макулатура, и мама наложила на неё запрет. Все читали, а я не читал. Я протестовал, требовал равных с одноклассниками прав, но мама была неумолима. Впрочем, она дала слово, что через два года разрешит. Она рассчитала правильно, и Шпанов остался невостребованным.

Летом 1950 года началась корейская война. Я страстно болел за северокорейцев, обводил красным на вырезанной из «Правды» карте сжимавшуюся вокруг пусанского плацдарма линию фронта и громко вопрошал, когда же американцев сбросят в море. Представляю себе моральную пытку родителей, не решавшихся проронить ни слова.

Это пришлось на седьмой класс, а в восьмом мама подсунула мне «Остров пингинов» и «Боги жаждут» Франса и пьесы Уайльда. Под их разъедающим действием риторика «Правды» сгнила на корню.

С тех пор я слабо верю речам типа «Мы ничего не знали». Ведь ясно, что если в газете такое враньё, то десятки лет поддерживать его можно только лагерями. С другой стороны, ничего подобного Франсу и Уайльду русская литература, особенно в советском каноне, не предлагала. Разве что Салтыкова-Щедрина, но он всё-таки тяжеловат.

(Лет двадцать назад, в Вашингтоне, Аксёнов рассказывал, как к нему обратились американские собратья-литераторы, естественно, либералы, с призывом подписать что-то

в защиту сандинистов. Он отказался. Они спросили: «А что, у вас есть новые данные?» – «Да нет, – сказал он, – у меня очень старые данные».)

Мамина воспитательная программа не сводилась к идеологической профилактике. Запомнилось, например, уникальное определение поэзии. На мой вопрос, как читают стихи, мама ответила: «Стихи не читают, их почитывают».

Стихи, в том числе Пастернака, включая «Сестру мою – жизнь», аккуратно переписанную восемнадцатилетней маминой рукой в альбом крокодиловой кожи с застёжкой (он и сейчас у меня), в изобилии стояли на полках. Однако попытки почитывания оставались безрезультатными – Пастернака я не понимал.

Понимание пришло через четыре года после маминой смерти, летом пятьдесят восьмого, в Коктебеле, на пляже, где в руках у меня оказалось двуязычное итальянское издание, принадлежавшее моему новому знакомцу Эцио Ферреро. Вернувшись в Москву, я рапортовал своему любимому учителю В. В. Иванову, что, наконец, понял Пастернака. «Самое время, – отреагировал он, – тут над ним сгущаются тучи». В октябре Пастернаку присудили Нобелевскую премию, и разразился скандал с «Доктором Живаго».

Пониманию текстов я с тех пор посвятил всю свою профессиональную жизнь и, как это бывает, склонен переоценивать важность любимого предмета

Однажды я позволил себе резко высказаться о новом знакомом. «Как ты можешь так уверенно говорить, ты же его почти не знаешь?», – возмутилась Ира. – «Почему? – нагло парировал я. – Я уже слышал от него больше ста фраз». (Сто проповедских сказок, сто синонимичных предложений, сто новелл Боккаччо были начертаны на наших структуралистских знамёнах.)

Другой раз мне удалось убедить Мельчука, ни в грош не ставящего поэтику, в её праве на существование. Как-то «в походе» я завёл речь об инвариантах. Игорь немедленно устроил публичный экзамен: на память прочёл неизвестные мне стихи и потребовал определить автора. Я назвал Симонова, а в ответ на невольное одобрение перечислил симптоматичные мотивы. Мельчук был покорён – разумеется, ненадолго. (Против инварианта не попрёшь.)

К 60-летию того же Мельчука, уже в эмиграции, я написал эссе «О пользе вкуса» – о том, что Россию погубила любовь к плохой литературе, вроде «Что делать?» Чернышевского, и неспособность адекватно понимать хорошую, в частности «Станционного смотрителя» Пушкина: картинка с блудным сыном на стене станции впервые рассмотрел лишь Гершензон – в 1919-м году (то есть, с роковым опозданием на два года).

А недавно по телевизору выступала одна моя старая знакомая. Мне она, как всегда, терзала слух, и я был поражён реакцией моего приятеля, некогда андеграундного, а ныне широко признанного поэта: он счёл выступление полезным.

– Но тон, стиль! – упорствовал я.

– Ну что стиль?!.. – сказал поэт, сам безупречный стилист. – Она говорила правильные вещи, особенно нужные сейчас, когда свободы под ударом. Вот мне предстоит появиться в той же программе, и я не уверен, что со своими узкими интересами окажусь полезным народу.

– А, может, для народа, то есть, собственно, для интеллигенции, которая смотрит эти передачи, ваш индивидуалистический опыт самоотделки гораздо ценнее, чем очередные прописи в назидательном советском ключе? И вообще, стиль содержательнее

содержания. Тартюф, например, говорит только хорошее, но так, что все видят его насквозь.

... Ну, не все, почти все. Все, кроме Оргона – до поры до времени, и его матери, г-жи Пернель, – до самого конца.

Беда, если кому не повезёт с мамой.

9 апреля 2005 г.

Армей, плейнбол, Жало

Хотя Женька был младше и ниже ростом – был и остаётся, только теперь это всё равно, – ведущая роль сразу отошла к нему. Мы познакомились по возвращении из эвакуации, то есть в августе сорок третьего; мне было почти шесть, ему четыре с половиной.

Солнечным утром я вышел во двор и увидел мальчика в тёмно-синей эспаньолке с красной каймой по двугорбому контуру (словари такой эспаньолки не дают, но эта производная от испанской пилотки на слуху у людей нескольких поколений). В руках у него был сачок, которым он собирался накрыть вившуюся над цветком бабочку. Он заговорил, и я услышал слова капустница, крапивница, махаон, мёртвая голова.

Женька собирал бабочек, рыбок, почтовые марки, имел полный пуговичный состав футбольной «Лиги А». Кроме настоящих, у него были марки вымышленной кошачьей страны с портретами королевской династии – Василия I и II, Игруна IV и других, нарисованных его дядей. В отца-поэта и дядю-художника Женька был выдумщиком. Когда я болел, мама, вообще строгая, пускала его, чтобы он развлёк меня последними известиями из царства котов и рассказами про ноуежского чоута. Так сложилась моя ориентация на владеющего целым особым миром товарища, и позднейшие союзы с друзьями-соавторами следовали готовой прописи.

Двор был непроходной и сравнительно безопасный. Когда-то на месте дома стояла церковь, а на месте скверика располагалось кладбище. Женька находил в земле кресты и старые монеты. Весной мы пускали по ручьям кораблики, то есть щепочки, чья быстрее. С ребятами играли по мелочи в пристенок, всем двором, включая девчонок, – в двенадцать палочек.

Некоторое разнообразие вносили забредавшие во двор чужие ребята. Прибегал истеричный Шухат, то ли страдавший недержанием мочи, то ли шутовски его изображавший. Однажды кометой пронёсся Коля Захаренко из Хилкова переулка, остервенело скандируя:

Б...и, б...и, б...и, б...и –
Оторвали **й у дяди!

Появлялся Валя Шилин, живший в квартирке на углу Метростроевской и Хилкова, которую им выгородили по какому-то благу. Они с матерью приехали из Сибири, и Вера Артемьевна обшивала окрестных мальчишек штанами передовой кройки с особым хлястиком спереди; мама очень её ценила. Валя рассказывал небылицы о своих сибирских подвигах. Потом они опять куда-то уехали, а теперь, я посмотрел, дом снесён, заменён более роскошным, и на месте их угловой квартирki – винный бутик «Кауфман».

Армей придумал Женька. Заговорщическим тоном он сообщил мне, что секрет мужественности – в простой солдатской пище, всухомятку поедаемой на марше. Она укрепляет, закаляет, воспитывает выдержку. В подтверждение этой спартанско-почвеннической идеи он сделал непреклонное лицо, сжал кулак и одновременно притопнул ногой. Не поверить было нельзя. Мы созванивались и, тайно похитив из дому чёрного хлеба, колбасы и варёной картошки, сходились на нежилой верхней площадке лестницы, около чердака, чтобы разесть честно поделённые припасы. Это называлось выноси на армей. Духом армия были в дальнейшем овеяны для меня мельчуковские турпоходы, а в Санта-Монике я приобщил к нему Катю. Под небом Калифорнии походная аскеза неизбежно окрасилась в расслабленные, хотя и диетические, тона: собачью колбасу сменили апельсины, папайя, манго.

Спортивная жизнь двора тоже проходила под знаком минимализма. Прыгали в высоту – через протянутую верёвку. А играли в игру собственного изобретения, под англизированным названием плей-ин-болл. Мячом служила тряпичная подушечка, сброшенная из окна второго этажа мамой, которая больше не могла видеть, как мы бессмысленно слоняемся по двору. Она сшила мячик, предложила название, придумала правила. Игрок стоял в воротах шириной в три-четыре метра, помеченных кирпичами, и подбросив мяч левой рукой, волейбольным ударом правой старался забить его в ворота противника. Играли в дальнем, самом уютном конце двора, около первого парадного. Несмотря на нищенскую незамысловатость, плейнбол продержался несколько лет, пока не появились футбольные мячи, волейбольные сетки и другие предметы роскоши.

На всём этом узнаётся лёгкий отблеск истории – гражданской войны в Испании, военной бедности, моды на ещё не предавших союзников, – причём во вполне доброкачественном варианте. Если к кому применима формула «Мы ничего не знали», так это к детям. Из штрихов тоталитаризма задним числом вспоминается разве что престарелый член кооператива Шеин, с толстовским именем отчеством Иван Ильич, но – опять-таки задним числом – подозрительно чернявого и носатого вида. Он носил тёмный френч и сапоги, ходил медленно, говорил, по-сталински взвешивая каждое слово. Но никого, вроде бы, не преследовал, видимо, довольствуясь чисто портретным вхождением в роль.

Иногда он проводил в подвальной конторе кооператива лекцию о международном положении. Это был особый формат – говорилось в сущности то же, что в газетах, но с доверительным вкраплением людоедских антиимпериалистических деталей. Образцом ему служил классик жанра – некий Свердлов, говорили, что это брат давно покойного первого главы Советского государства, читавший такие лекции в больших московских аудиториях. Помню, как позднее, во время антикосмополитической кампании (1949? 1952?), мой двоюродный дедушка сходил на лекцию Свердлова и, вернувшись домой, похвастался своей гражданской смелостью.

– Лектор предложил задавать вопросы, я поднял руку и сказал: «Прошу рассказать о борьбе Коммунистической партии Израиля».

Мы с Женькой дружили вдвоём, противопоставляясь другим сверстникам – Гарику, Кириллу, дворничихиному Пашке, маленькому Лёке. Опасность пришла с неожиданной стороны. В дом въехала новая семья, с мальчиком постарше нас, тоже Аликом, очень толстым. Подходящей компании ему не нашлось, и он начал водиться с нами, но, конечно, в роли главного. Он стал Алёмой Большим, я – Алёмой Маленьким, Гарик – Гарёмой, остальные прозвищ не получили. Женька, я и Алёма Большой

образовали тайное общество «Жало», с пропорциональным представительством букв в акрониме. Вообще, всё в этом обществе было устроено демократично, все решения принимались голосованием, – с той особенностью, что Женька и Алёма Большой всегда голосовали вместе, а я оставался в подавляемом меньшинстве. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет? Принято двумя голосами против одного! Образцом, наверно, служили голосования в недавно образовавшейся ООН, с её автоматическим проамериканским большинством, но отдавало и сталинской конституцией.

Почему я терпел это постоянное унижение и не покидал рядов тайного общества, в котором мне ничего не светило? Из боязни одиночества? Из уважения к парламентской процедуре? А, может, из преждевременного литературоцентризма? «Жало» выпускало рукописный альманах, и некоторые жальские стихи я помню до сих пор. Например, фрагменты длинной поэмы в двухстопных анапестах о лошадке и кобыле (sic!) и других зооморфных персонажах, конфликтовавших из-за товарного дефицита:

Прискакала кобыла
В магазин и завыла:
«Нет нигде куска мыла –
Всё лошадка купила!»

И решила лошадка
Отомстить так кобыле,
Что той будет несладко,
Что влетит ей за мыло.

Исход поединка сообщался в эпилоге:

Рано утром сорока
Пролетала над ёлкой.
Что ж она увидала?
Там два трупа лежало!

Были и отклики на злободневные темы; так, сатирический образ Вали Шилина был запечатлён размером пушкинских «Бесов»:

Валя Шилин убивает
Много тигров, медведей,
Шкуры ценные снимает
И с куниц, и с соболей.

Видимо, литературная отдушина примиряет с любой тиранией. Да и так ли страшна приговоренность к меньшинству, оставшаяся на всю жизнь? Это просто ещё один из ликов минимализма.



Соцреализм в школе и дома

Я ещё учился в школе, когда после разгрома литературы, кино, музыки и генетики Сталин выступил с работами по языкознанию и экономике. Чудесная разносторонность впечатляла. Значит, гений срабатывает одинаково хорошо, на что его ни направишь? – спросил я у папы. Да, на что ни направишь, отозвался он, и мы потом неоднократно возвращались к этой наивно-восхищённой формуле. Подлинная суть сталинской гениальности, конечно, не составляла для него загадки, но её разоблачением я мог бы поделиться с кем-нибудь вне дома, и рисковать не стоило.

2-го марта пятьдесят третьего года я первым в семье услышал по радио о тяжёлой болезни Сталина. Я позвал родителей и помню, что прибежав, мама стала повторять одну и ту же, как я теперь понимаю, двусмысленную фразу: «Что теперь с нами будет?!» Папа промолчал, а дождавшись 5-го марта, объяснил мне, что догадался, что дело плохо, сразу – при малейших шансах на выживание о болезни не посмели бы и заикнуться. В школе мне пришлось постоять в траурном карауле у портрета вождя.

А вскоре папа рассекретил свою пародию на сталинские речи – музыкальную в своём структурном совершенстве миниатюру, которой потом часто развлекал знакомых.

«Мэ-ждународные а-вантюристи па-таму и называются мэ-ждународными а-вантюристами, что оны пускаются во всякого рода а-вантюры мэ-ждународного характера. Спрашивается, па-чиму оны пускаются в мэждународные авантюры? Оны пускаются в мэждународные авантюры па-таму, что, будучи мэ-ждународными а-вантюристами па сваэй природе, оны нэ могут нэ пускаться во всякого рода мэждународные авантюры!»

ИЗ КНИГИ «НРЗБ. ALLEGRO MAFIOSO» (2005)

Фаллократическое воспитание

1. Молчание – золото

После войны дольше других у нас продержалась домработница Полина, оставшаяся некоторое время и после смерти мамы (1954 г.). Это была миловидная девушка, кажется, из-под Смоленска, с ясным лицом, высоким лбом и зелёными глазами. Своё имя она произносила почти как Пулина – не знаю, сколь закономерно с точки зрения диалектологии. Домработницы получали в Москве временную прописку, конечной же их целью была постоянная, возможная путём либо замужества, либо поступления на стройку или иной приоритетный объект, дававший место в общежитии.

Жила она в закутке на Г-образной кухне, вечером шла на танцы или к ней приходили посидеть подружки, а то и кавалеры. Кавалеров было два, и приходили они, в отличие от подружек, одновременно. Иногда это был Мишка, блондин лет тридцати пяти, то есть явно старше неё, с острым носом, залысинами, резкими чертами лица и уверенными манерами. У меня вскоре сложилось впечатление, что он женат и, значит, не может соответствовать видам Полины, которая, однако, отдавала ему предпочтение перед

его соперником Лёшкой. Лёшка был маленького роста, чернявый, добродушный. Он как раз хотел жениться, но Полина колебалась.

У нас с ней были вполне доверительные отношения, которых не портили мои эпизодические незрелые набеги, в амплуа подрастающего барчука, на её и одной из её подружек женские прелести. Как реально строилась её половая жизнь, я не представляю: сохранялась ли, в качестве приза за будущую прописку, невинность, или же где-то за пределами нашей квартиры (на ночь гости не оставались) она в порядке аванса регулярно утрачивалась. Об этом я не спрашивал, да, признаться, и не думал, зато проблема выбора между Мишкой и Лёшкой меня занимала, и однажды я спросил Полину напрямик, правильно ли я понимаю, что Мишку она любит, а Лёшка – так, на всякий случай, и получил утвердительный ответ.

– А он тебя любит?

– Любит.

– Он признался?

– Мужчины не говорят. Оне тайно любят.

Я точно воспроизвожу это странное, как бы трансгендерное, «оне», появляющееся в самом неподходящем, маскулинистском контексте, – потому что без него максима вряд ли бы запомнилась.

Вышла Полина в конце концов за Лёшку.

2. Коэффициент Каширина

Зимой 1959 года, посредине выпускного пятого курса, нас повезли на стажировку в военный лагерь – в открытом грузовике. Я простудился и по прибытии на место был отправлен в лазарет, где с воспалением лёгких провёл треть месячного срока. Там находились несколько лежачих больных и один выздоравливающий, рядовой Каширин, болтавшийся в синем госпитальном халате между койками и в меру способностей развлекавший остальных. У него были рыжеватопшеничные волосы, веснушки, нос картошкой и обезоруживающая, то ли глуповатая, то ли шутовская улыбка. Лежачие приятели постоянно его подде*ывали.

– Каширин, а Каширин!

– Чего?

– Каширин, ты женат?

– Не-а...

– Что так?

– А чё мне жениться? У меня ... длинный.

Вероятность того, что 19-летний Каширин был женат, представлялась незначительной, – как и серьёзность его мотивировки. Не исключено, что в диалогической форме тут разыгрывалась известная обеим сторонам фольклорная формула, но меня, двадцатидвухлетнего, она пленила эффектным сопряжением далековатых идей: чисто количественных анатомических параметров и женитьбы, которая, как известно, шаг серьёзный. Убедительная по своей материалистической сути, по форме она напоминала пародийные задачи-арифмомоиды типа: «Средний возраст работников железнодорожной станции – 47 лет, средний рост – 1 м 65 см. Какова в процентах партийная прослойка этой станции?»

Возможно, именно благодаря этому остраляющему контрапункту, она засела в памяти и, катализируя неизбежно субъективные самооценки, могла отразиться на ритме моих браков и разводов.

3. Страсти по Вериге

Приятели моего старшего (троюродного) брата, физтеховеца, были крепкий спортивный народ, туристы, альпинисты, яхтсмены. В том числе – статистически неизбежный в большой компании Иванов; неременный силач по прозвищу Слон, способный тащить на себе одновременно палатку и байдарку; и красавец-волейболист (Алик Бундман), игрой и фигурой которого я любовался на даче в Кратове. Но на периферии этого клуба здоровяков имелся странного вида студент, носитель не менее странной фамилии, – Слава Вериге. С искривлённой фигурой (или манерой держаться?), нездоровым, как бы воспалённым, цветом лица и горящими глазами, он, кажется, не был причастен к их спортивным занятиям, однако на вечеринках и бдениях у костра появлялся, присутствуя где-то сбоку, как часть фона или хорового сопровождения. Из его речей помню ровно одну фразу:

– А из кустов доносился женский голос: «Ой! Что ты со мной делаешь?! Что ты со мной делаешь?!»

Её психологическая подоплёка хорошо уловлена в «Лейтенанте Шмидте» (мне тогда не известном): на дне военщины «Навек ребёнку в сердце вкован Облитый мукой облик женщины В руках поклонников Баркова». Запомнилась же фраза, я думаю, благодаря не только своей неотразимой садистской энергетике, но и дополнительной к ней мазохистской пантомимике – всему тому страдальческому body language, которым сопровождалось её исполнение. Облитый мукой образ Славы Вериге и сейчас у меня перед глазами, с давних пор наложившийся на эпизод из первой серии «Ивана Грозного», где Всеволод Пудовкин в роли бунтаря-юродивого, увешанный веригами, прочерчивает своим телом сложно изломанную траекторию, опускается на землю и исчезает из кадра под властным взором Ивана.

От садомазохизма это не излечивало, но помогало его, как говорится, отрефлектировать.

4. Правило Канторовича

Борис (Роберт Анатольевич) Канторович был старше меня лет на десять с небольшим. Мы познакомились в июле 1963 года на прогулочном пароходике у одесского берега, – он заговорил со мной, как со старым приятелем, каковым я постепенно и сделался. Лицом Борис напоминал артиста Кторова – его близко поставленные глаза, нос бемолем и надменную посадку головы, телом же не походил ни на одну из когда-либо виденных мной особей Homo sapiens. Аналоги следовало искать среди каких-то смежных видов, потому что всё туловище Бориса от шеи до пят было покрыто густой тёмной шерстью; волосы отсутствовали только на голове, напоминавшей готовую к вылету торпеду. Впрочем, на мысль о торпеде, снаряде или ракете наводило и всё его тело, как бы изготовившееся к броску.

Характер и цели этого виртуального броска не составляли загадки: Борис был заиклен на сексе и на время стал моим наставником в этом вопросе. Он рассказывал об

оргиях на Крайнем Севере, куда выезжал на эпидемии клещевого энцефалита, о двух своих приятелях-близнецах, озадачивавших женщин ночными подменами, о врачах, практикующих в обмен на сексуальные услуги... При этом он был трогательно заботлив с женой и сыном, и возникало подозрение, что весь пар ушёл в дискурс.

Вечер. Звонит Борис:

– Ты дома? Что делаешь?

– Сижу, занимаюсь.

– Так я приеду? У тебя можно остаться?

– Давай.

– Интересные женщины будут?

– Никого не будет.

– Ладно, еду.

– Приезжай.

– Да что я поеду?! Только символ один: Я НЕ НОЧУЮ ДОМА! Не приеду...

Главная запомнившаяся цитата из него – тоже метадискурсивного плана:

– О чём бы ты ни говорил с женщиной, она ни на секунду не должна забывать, что речь идёт только об одном!..

5. Жертва тоталитаризма

В Корнелле я был сразу принят по высшему разряду. Как с лёгкой самоиронией признался мне декан Сезнэк, выбивая мне визу в Госдепартаменте, они привыкли козырять образом диссидента, вызволяемого из лап КГБ, и чувствовать свою причастность к большой политике. Мне даже показалось, что его разочаровал мой бодрый вид – без видимых следов пыток или хотя бы голодовок.

Высшим было и то интеллектуальное общество, в которое я попал в Корнелле благодаря знакомству с Джонатаном Каллером (мы переписывались, а потом встречались ещё в Москве и на моём пути в Штаты, в Париже). Это был круг корнелльских постструктуралистов (сам Каллер, Ричард Клайн, Фил Льюис, Нил Херц) – учеников и друзей Деррида, де Мана и Дж. Хиллиса Миллера. Деконструктивного подхода я не разделял, но греться в лучах отражённого величия не отказывался. Они с удовольствием мне покровительствовали, а разногласия списывали на разницу бэкграундов.

Однажды Нил Херц делал доклад в рамках какой-то престижной программы, и на него сбежался весь гуманитарный цвет Корнелла. Сути доклада я не помню, да не мог взять в толк и тогда, но помню, что он поразил меня невообразимой, на мой структуралистский взгляд, мешаниной рассуждений о французском романе, картине Делакруа «Свобода на баррикадах», онанизме и текущей политике. Мои друзья-деконструкторы были все как один, то есть без тени плюрализма, либералы, феминисты, поклонники Фрейда и противники Рейгана, и мастурбация, освобождённая отцом психоанализа из-под спуда репрессивных табу, занимала ключевое место в системе их передовых взглядов.

После доклада все высыпали в коридор, образовав вокруг Херца густую толпу, сквозь которую я не сразу пробился со своим провокационным вопросом:

– Нил, то, что вы говорили, захватывающе, но держится на постулате об универсальности мастурбации. Я не располагаю статистикой, но мой личный опыт вашей презумпции не подтверждает.

Я мыслил свою реплику как тактичное, с принятием огня на себя, выражение несогласия и был поражён реакцией докладчика и окружавших его единомышленников.

– Вот это да! Значит, аппарат сталинских репрессий проникал и в детское подсознание, подавляя самые элементарные позывы!..

Я не стал спорить, хотя параллель с убеждением Дон Кихота, что невидимость великанов не опровергает их существования, а, наоборот, свидетельствует о масштабах их могущества, напрашивалась. Я подумал, что своим признанием утолил не только их теоретический энтузиазм, но и подспудную жажду доказательств моей тоталитарной угнетённости.

... А может, они и правы? Ведь наряду со многими очевидными преимуществами, фаллоκραтия имеет тот недостаток, что стадо самцов должно беспрекословно подчиняться вожаку. Так что появление в финале моих фаллоцентрических заметок сильно автоматизировавшейся за последние годы фигуры товарища Сталина дополнительно обосновано по Фрейдю, видимо, не случайно им запрещённому.

ИЗ КНИГИ «ОСТОРОЖНО, ТРЕНОЖНИК!» (2010)

Дед Мазай

В средних классах нашей школы № 50 русский язык преподавал старенький учитель Дмитрий Иванович, по прозвищу Дед Мазай. Фамилии его не помню, не исключено, что Мазаев, но возможно, что нет и что прозвищем он был целиком обязан Некрасову и своему дедовскому облику. Во всяком случае, авторство принадлежало не нам, а прежним поколениям школьников, так что к нам это прозвище пришло уже освящённое авторитетом традиции. Не помню также, чтобы само стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы» на каком-либо этапе нами проходило, хотя его мастерски аллитерированное заглавие было, конечно, у всех на слуху, удостоверяя адекватность прозвища и нашей самоидентификации с зайцами.

Дмитрий Иванович был лыс, морщинист, носил узкую козлиную бородку, одевался просто, но как бы с неким сельским шиком – чёрный пиджак, чёрная косоворотка, чёрные брюки, заправленные в чёрные смазные сапоги, -- немного сутулился, а лицом, полурусским-полузырянским и совершенно неподвижным, напоминал восточного божка. С его евразийской внешностью, как и с некоторыми особенностями его педагогической манеры, хорошо согласовывался тюркский колорит прозвища, подспудно ассоциировавшегося с Мамаем.

Это был учитель старой школы, человек с раньшего времени. На нашей памяти, когда мы были классе в шестом, ему исполнилась какая-то круглая дата, хочется сказать 70, но допустим даже, что только 60. Тогда он родился около 1890-го года и, значит, был сверстником Пастернака и Мандельштама, а если держаться ориентации на сапоги и поддёвку, то младшим современником Клюева и старшим -- Есенина.

Он был неизменно суров, не улыбался, уроки спрашивал строго, а оценки ставил, руководствуясь правилом, которое охотно повторял:

– Как говорил мой школьный учитель, Бог знает на пятёрку, я на четвёрку, а вы в лучшем случае на тройку¹.

Провинившихся он ставил в угол, а особенно злостных нарушителей подвергал физическому воздействию, не очень болезненному, но обидному, ударяя их средним пальцем твёрдо выставленной руки в мякоть между плечом и ключицей (задним числом напрашивается мысль о джиу-джитсу). Телесные наказания в школе давно не применялись, налицо был типичный пережиток прошлого, но ни Мазая, ни дирекцию это не заботило.

Набросанный мной жёсткий портрет явно противоречит положительному образу некрасовского охотника, лучшего друга детей и даже зайцев, которых он десятками спасает от весеннего половодья. Я уже в школе ощущал тут некоторую нестыковку и осмыслял прозвище Мазай как ироническое. Но теперь склонен думать иначе.

Самое незабываемое воспоминание о Мазе -- речь, произнесённая им в день его юбилея, вернее, в день, когда стало известно, что по этому случаю ему присвоено звание Заслуженного учителя. Новость мгновенно облетела школу, и когда он вошёл в класс, мы стали нарочито шумно его поздравлять и требовать, в надежде оттянуть начало собственно урока, чтобы он сказал речь. Он не стал отказываться.

Это была самая короткая и впечатляющая речь, которую мне когда-либо довелось услышать.

– Ну что вам сказать? Материально звание мне ничего не даёт, -- обычным своим тусклым голосом проскрипел он и приступил к опросу.

Так вот, специально перечитанный сейчас стишок Некрасова кончается обращением Мазая к спасённым им и выпускаемым на волю зайцам:

«... Я проводил их всё тем же советом:

“Не попадайтесь зимой!”

Я их не бью ни весною, ни летом,

Шкура плохая, -- линяет косою...»

Что и говорить, наш заслуженный Дмитрий Иванович, некрасовский дед Мазай, да и его знаменитый создатель были серьёзные люди, знавшие, что почём и с какой стороны хлеб намазан.

ИЗ КНИГИ «НАПРАСНЫЕ СОВЕРШЕНСТВА...» (2015)

Саша Самбор

Мне всё хочется вспомнить Сашу и хоть как-то зафиксировать его в слове. Не знаю, что мешает. Может быть, то, что подводит хронология, кажущаяся обязательной? Помню я, в общем, немного, но и это немногое мне трудно расположить во времени. Впрочем, как нас убедили Фрейд, Леви-Стросс и Якобсон, ни подсознание, ни мифология,

¹ Дмитрий Быков, посмотрев на старую фотографию Мазая, сказал, что это вылитый Фёдор Сологуб, который, наверно, таким учителем и был. Кстати, творец Передонова, преподаватель гимназии Фёдор Кузмич Тетерников (1863-1927), был как раз на три десятка лет старше нашего Мазая, вполне мог успеть поучить его и стать образцом для подражания.

ни поэзия хронологией не озабочиваются, подвешивая всё в некой парадигматической одновременности.

Конечно, кое-что датировке поддаётся.

Мы с Сашей одноклассники и учились в одной и той же школе № 50, в параллельных классах, которых к концу осталось два: класс гениев «А», его, и класс «Б», мой.

Даже среди гениев он выделялся. В частности – породой: стройный, с ясным лбом, откинутыми назад тёмными густыми волосами, изящным прямым, может, слегка курносый носом. Он был веснушчат, но и это его не портило. Фотографий его у меня нет и никогда не было. (При попытках мысленной наводки на резкость я вижу его лицо проступающим сквозь черты теннисиста Томми Хааса, – если поубавить смазливости.)

Одно время в школе передавался его разговор с директором, «Колобком».

– Самбор, ты не русский?

– Русский.

– Почему же у тебя фамилия такая?

– А потому что у меня отец француз.

Вот тут опять не уверен. Может быть, не «француз», а «поляк». Дело в том, что, как это часто бывало в те годы, сталинские, да ещё и послевоенные, никакого отца, поляка ли, француза ли, в натуре не наблюдалось, – Сашу растила одинокая очень колоритная мама, преподававшая французский язык. Впрочем, она и польским, кажется, владела, к тому же Самбор – город подо Львовом, в бывшей Польше, ныне Украине, так что не знаю. Не исключено, что фамилия была еврейская (по названию города – как Берлин, Лемберг, Падва), и тогда понятен директорский наезд, особенно если приурочить его к 1949 г. или к зиме 1952-1953 гг.

Мы общались, но не тесно. Не помню, бывал ли я у него дома, хотя, где он жил, помню прекрасно – над молочным магазином (бывш. Чичкина или Бландова) на углу Кропоткинской (теперь опять Пречистенки) и Мансуровского. Это был второй этаж, и ночью Саша иногда вылезал, а потом влезал через окно, выходящее в переулок. Колоритная носатая мама одевалась необычно, помню на голове у неё некий сложный берет или даже нечто многоугольное; впрочем, в те годы, поздние сороковые, одевались кто как мог. (У моей мамы на старых снимках тоже очень странные шляпы.)

Держался Саша приветливо, но как-то скорее замкнуто (отчуждённо? потерянно?). У него всегда были другие дела. Он был очень спортивен, среди прочего занимался горными лыжами (но уже в школе или только позже, не помню).

Потом мы окончили школу и видаться практически перестали. Я поступил на филфак МГУ, а он во что-то более карьерное – то ли МГИМО, то ли Военный институт иностранных языков. Полиглотство было у него в крови, а почему он в 1954-м выбрал такой вуз, можно лишь догадываться. Возможно, из любви не только к языкам, но и к дальним странствиям, каковые впоследствии не преминули материализоваться.

Дальше хронология сбивается. Соотнести по времени несколько запомнившихся эпизодов просто не могу.

Когда я, ради сомали, поступил на полставки на Радио (1964 г.), оказалось, что Саша там уже работает, и мы пару раз пересеклись у лифта.

Потом в какой-то момент оказалось, что он, как и я, но не помню, кто раньше, кто позже, подписал письмо протеста (я в 1967-м), и что ему грозит увольнение.

Кажется, его не столько уволили, сколько вдруг забрали в армию, что они, возможно, имели право сделать в любой момент, если по специальности он был военным переводчиком.

В армии он служил по языковой части, и вот опять не уверен, сначала ли в Одессе, а потом в просоветской Гвинее, или наоборот. Может быть, в Гвинею (Мали?) он был отправлен (распределён?) ранее, до осложнений с властью, а в Одессу именно сослан потом – за подписанство или какую-то другую идеологическую провинность.

В Африке он остался верен себе и выучил местный язык – малинке, учебник которого, отпечатанный на дешёвой колониальной бумаге, по возвращении подарил и мне, но я, довольствуясь сомали, вгрызаться не стал.

А в Одессе он с моей (в опальном ореоле диссидента?) подачи подружился с компанией моих знакомых и, насколько понимаю, завёл дежурный роман с тамошней прелестницей-интеллектуалкой Ксаной (от чего я в своё время уклонился, но это особая история).

Впрочем, по воспоминаниям некоторых из общих знакомых, пребывание в Одессе могло быть не долгой ссылкой, а короткой карательной командировкой (году в 1964-м), то ли на курсы усовершенствования, то ли, скорее, для переводческого обслуживания приезжих кадров – кубинцев и гвинейцев. И, вроде бы, в Одессе он с удовольствием вспоминал о своей загранке, бывшей, значит, уже в прошлом.

В какой-то момент, – не решаюсь поместить его до или после политических событий, не исключено, что после подписанства, в 1970-е, – мы снова сблизились. Да, наверное, уже после того, как я женился на Тане (1973), потому что заходить он стал, похоже, не столько ради меня, сколько ради неё. Таня, кстати, была горнолыжницей, и интерес мог начаться с этого. Так или иначе, он стал заходить и даже один раз увязался с нами загород, причём мы катались на беговых, а он мучительно тащился на горных, что крайне трудно и к тому же, кажется, вредно для ног. Потом его увлечение как-то сразу прошло, и он опять исчез с моего горизонта.

Но может быть и так, что засматривался он не на вторую мою жену, а на первую, Иру, и тогда загородный анабазис надо отнести на десяток лет раньше (мы с Ирой разошлись в 1965-м).

Потом мне рассказали (или он сам рассказал?), что, катаясь на Кавказе, он сильно поломался, чуть ли не повредил позвоночник, так что горные лыжи больше ему не светят, и он страшно это переживает.

И последнее – тут сомнений в порядке событий быть не может, хотя датировка остаётся смутной: на пьянке в общежитии МГУ на Ленгорах (или в собственной квартире, – он был женат, и, кажется, не очень счастливо: жена была сильно старше, с дочкой лет пятнадцати, и острили, что ему надо было дожидаться её) он решил щегольнуть проходом по внешнему карнизу из одной комнаты в другую (был такой спорт), сорвался и разбился насмерть. Подозревали самоубийство.

Когда это произошло? Году в 1970-м? В 1975-м?

Но одна дата известна мне совершенно точно. Саша Самбор родился 8 сентября 1937 года, в ту же ночь, в том же родильном доме, на том же столе, что и я. Там наши мамы познакомились, и эта тень двойничества всегда нас немного осеняла. Но вот уже десятки лет, как его нет в живых, а я продолжаю притворяться непогибшим, то более, то менее удачно, в частности путём вампирических воспоминаний о покойных.

Causa finalis

Однажды в старые советские времена, я остановил на Садовом кольце левую машину. В ней уже были пассажиры, но мне оказалось по пути, и я поместился рядом с водителем.

Сзади сидела женщина, а рядом с ней, приклеившись к окну, стоял на коленях мальчик лет шести, который задавал одни и те же изматывающие вопросы. Наверно, это длилось уже долго, – мать отвечала неохотно. Водитель молчал. Я тоже сидел тихо, любуясь развёртывающейся, пусть с перебоями, картиной предустановленной мировой гармонии.

- Мам, что это?
- Троллейбус.
- Зачем?
- Чтобы возить людей.
- Зачем?
- Чтобы они ехали, куда им нужно.
- А это?
- Милицейская будка.
- Зачем?
- Для милиционера.
- Зачем?
- Зачем, зачем?! Регулировать движение.
- Зачем?.. А это что?
- Асфальтовый каток.
- Зачем?
- Асфальт укатывать.
- Зачем?
- Женщина не отвечала.
- Зачем?

Почуввав, что это его выход, реплику подал водитель:

- Чтобы он был неровный...

Мальчик замолк, озадаченный вторжением в идеально телеологичную вселенную элементов неэвклидовой геометрии.

Through a glass, darkly

Дом, в котором я прожил четыре десятка лет своей советской жизни (Метростроевская, теперь снова Остоженка, 41), был одним из первых кооперативных. Построенный в конце 20-х годов Русско-Германским обществом, он имел три подъезда с бетонными козырьками и массивными чёрными деревянными дверьми, образующими небольшой застеклённый тамбур (Сегодня они сохранились лишь наполовину – внешние двери заменены глухими железными). Я жил в первом парадном, расположенном в глубине двора, в низинке, и потому с каменным крыльцом в три ступени. Второму парадному хватило пары ступенек, а третье, смотревшее на сквер и улицу, обходилось без крыльца. В холодное время года консьержка сидела во втором парадном, первое и третье

запирались, и их жильцы шли к себе по подземным коридорам, мимо технических помещений – соответственно прачечной и котельной.

Как-то в далёкой молодости, возвращаясь октябрьским вечером домой и поднявшись из коридора, сквозь стёкла своего парадного я увидел, что на скамейке напротив сидят. Было темно, лампочка над крыльцом не горела, но угадывалось, что это парень с девушкой. Они сидели неподвижно, в тяжёлых пальто и, видимо, тихо беседовали. Он что-то держал в руках, девушка, не меняя позы, иногда поглядывала в эту сторону.

Мне их было не слышно, им меня не видно, я стоял и смотрел, любопытствуя. Молодого человека я узнал. Он учился в нашей школе, мы не были знакомы, но я встречал его и где-то ещё. Это был здоровый парень, прямой, как палка, розовощёкий, всегда пёстро одетый, с близко поставленными глазами-пуговками и низким лбом, в который вклинивалась щётка густых чёрных волос. Но сейчас ничего этого нельзя было различить, -- поздний вечер, осень, двойные стёкла, серое на сером.

Вглядевшись получше, я понял, что двумя руками он держит предмет неслышного мне разговора – высвобожденный из ширинки член, длинный, тяжёлый, находящийся в состоянии полуэрекции. Завораживающая в своей медитативной невозмутимости сцена длилась и длилась, мгновение было остановлено.

Я испытал смешанные чувства удивления, зависти, сочувствия, мелькнула даже мысль предложить им свою квартиру. Оторвав, наконец, от них взгляд, я поднялся к себе, потом не вытерпел и вышел посмотреть ещё раз, но никого уже не было.

Заголовок – из 1-го Послания к Коринфянам (13: 12). По-русски он звучал бы совсем тоскливо: «Сквозь тусклое стекло».

1984

(Взгляд лингвиста)

Советская эпоха была оргией переименований. Петроград становился Ленинградом, Царицын – Сталинградом, Тверь - Калинином, Пермь – Молотовом, Мясницкая – улицей Кирова, Пречистенка – Кропоткинской и т. д. Но переименования были не окончательными. По мере выпадения советских лидеров из обоймы, их имена теряли сакральный статус, и Молотов обращался в Пермь, Сталинград в Волгоград, Сталинская премия в Государственную, а метрополитен имени Кагановича в метрополитен имени Ленина.

При этом переименование из Кагановича в Ленина допускалось, а обратное – никогда. С другой стороны, не исключалось и переименование нейтрального названия типа Тверь опять-таки во что-нибудь ленинское. Это значило, что по прошествии достаточно долгого времени все объекты с математической неизбежностью получили бы имя Ленина. Первые проявления этой тенденции были уже налицо, например, официальное название московского метро: Московский ордена Ленина метрополитен имени Ленина, среди станций которого имелась и Библиотека имени Ленина. С переименованием Москвы в Ленинск был бы ленинизирован и последний беспартийный участок этого названия.

Оборотной стороной процесса была постепенная утрата корнем Ленин- смысловой полноценности. Не противопоставляясь более бывшим Сталинску, Кировску, Калининцу и Молотову (не говоря уже о Москве и Нижнем Новгороде) и лишь минимально отличаясь

от родственных топонимов Ленино, Ленинград, Ленинан, Лениногорск, Ленинабад и проч., Ленинск вскоре оказался бы просто ещё одним словом со значением «город», причём смысловозначительная роль перешла бы от бывшей корневой морфемы к суффиксальным: -о, -град, -кан, -бад, -горск. Последним оплотом лексического плюрализма остались бы рудиментарные наименования типа Ульяновск и имени Ильича с их крайне ограниченным смысловым и словообразовательным потенциалом.

Станция Библиотека имени Ленина Ленинского ордена Ленина метрополитена имени Ленина звучит тяжело, но понятно. Следующим шагом должна была бы стать постепенная ленинизация имён нарицательных: библиотеки, метрополитена, ордена и т. п. Ленинотека? Лентро? Политически – кто бы возражал?! Но лингвистически это был бы тупик. И в подтверждение неумолимости языковых законов, в своё время приведших в германских языках к передвижению согласных, в русском к падению еров и носовых, а во французском к радикальной перестройке всей латинской фонетики, наступила гласность.

Генерал Гоголь *История одного открытия*

Уже на заре туманной юности, сподобившись соавторствовать с великим Мельчуком, я удивлялся, сколь долгим и кривым – «ненаучным» -- путем приходят в голову совершенно, казалось бы, очевидные вещи, которые потом и докладывать-то в качестве открытий как-то неловко («Ну да, конечно, но это же и так ясно, а как же иначе...»). Мельчук отвечал, что никаких научных методов не бывает и быть не может, надо просто разуть глаза, шевелить мозговой извилиной, трудиться в поте лица и не заморачиваться дурацкими вопросами.



И.А. Мельчук. 2012.

Историей одного затянувшегося открытия, правда, не в филологической, а в житейской сфере, я недавно поделился с читателем – рассказал, как в один прекрасный

день, после десятилетий блуждания в интеллектуальной темноте, я сообразил, что в нашей благословенной Санта-Монике парковочные счетчики на незастроенной -- открытой к морским горизонтам -- стороне Океанской Авеню имеют номера, соответствующие их личным адресам и потому легко вычисляемые.

А вот еще одна подобная история, свеженькая.

Преподавая вот уже четвертый десяток лет общеобразовательный курс русской новеллистики, я, в целях снискания у американских первокурсников дешёвой популярности, дойдя до Гоголя, иногда сообщаю, что в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде в качестве главы советской разведки фигурирует генерал Гоголь.



Н. В. Гоголь. Портрет работы Ф. А. Моллера. 1840-е гг.



Генерал Гоголь (актер Walter Gotell)

<http://www.krasota.ru/krasota/articles/show.html?id=1217>

Это действует, правда, с годами все меньше: имя Джеймса Бонда постепенно становится столь же экзотическим, как имена лорда Байрона, Вальтера Скотта, Генри Джеймса и многих других англоязычных авторов. Но отдельные смешки упоминание о Гоголе под флагом Бонда все-таки вызывает.

Недавно (сентябрь 2014) я по телевизору случайно наткнулся сразу на два таких фильма подряд: *For Your Eyes Only* (1981) и *A View to a Kill* (1985). Надо сказать, что генерал Анатолий Гоголь, хотя и является естественным противником Бонда, -- персонаж, в общем, скорее положительный, здравомыслящий, сторонник мирного сосуществования и разрядки напряженности. И, когда я в этот раз заговорил о нем перед студентами, меня вдруг впервые осенило, что и наш Николай Васильевич был-таки полным генералом, почти в буквальном смысле слова.

В классе я обычно я ограничиваюсь рассуждениями о том, что кто-то из создателей бондианы, по-видимому, прослушал в свое время курс вроде моего и, возможно, даже сознательно учел фиксацию персонажей Гоголя на чинах, чиновничестве, знаках различия (вспомним квази-маиора Ковалева в «Носе», *значительное лицо* в «Шинели», претензии героя «Записок сумасшедшего» на испанский престол), да и его собственную любовь к имперской субординации и высочайшим повелениям. Об этой ориентации Гоголя на Табель о рангах я писал, со ссылками на Синявского, – в своем разборе письма Гоголя к калужской губернаторше. Там я даже сравнил начальственный самообраз автора с аналогичным позиционированием соколовского Палисандра и, шире, с дискурсом Комара и Меламида, Д. А. Пригова и других соцартистов. Но разглядеть в Гоголе генерала так и не сумел.

Надо сказать, что соцарт, подталкивавший мысль в этом направлении, почему-то -- и, как я теперь понимаю, незаслуженно – оставлял Гоголя в стороне. Так, в приговских «Некрологах» (1980):

Центральный Комитет КПСС, Верховный Совет СССР, Советское правительство с глубоким прискорбием сообщают, что 10 февраля (29 января) 1837 года на 38 году жизни в результате трагической дуэли оборвалась жизнь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина <...> что 15 июля 1841 года в результате дуэли скончался замечательный русский поэт Лермонтов Михаил Юрьевич <...> что в 1881 году ушел из жизни известный писатель Достоевский Федор Михайлович <...> что не стало графа Льва Николаевича Толстого <...>

Гоголь в элитную компанию, отмеченную правительственным вниманием, не попадает.

Соцартовский образ классиков как своего рода членов Политбюро закономерно опирался на понятие «литературных генералов», то есть официально признанных живых классиков советской литературы, печатавшихся гигантскими тиражами (от Шолохова и Симонова до совершенно бездарных, но занимавших важные секретарские посты Софронова, Кожевникова и др.). Кстати, выражение «литературный генерал» было впервые употреблено, по-видимому, Достоевским (в «Униженных и оскорбленных») и подхвачено современниками, включая Салтыкова-Щедрина, но полноценный командный смысл обрело в позднесоветское время. Недаром на обложку своей книги о власти в литературе Михаил Берг вынес фрагменты коллажа Б. Орлова (1982), где галерею брежневоподобных орденоносцев в генеральской форме образуют академик Павлов, Маяковский, Петр Первый, Горький, Ленин, непонятно кто (Тургенев? Менделеев? Стасов?), Пушкин и Ломоносов.



На передней стороне обложки

На задней стороне

Но Гоголь и тут блистает, как говорится, своим отсутствием.

А между тем, в одном из часто цитируемых (в частности мной, в том числе в лекциях для первокурсников) мест из гоголевской «Переписки» автор недвусмысленно присваивает себе генеральский чин:

Я не любил никогда *моих дурных качеств* <...> По мере того как они стали открываться <...> усиливалось во мне желание *избавляться от них* <...> передавать их моим героям <...> С этих

пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей *моей собственной дрянью*. Вот как это делалось: взявши *дурное свойство мое*, я преследовал его *в другом званье и на другом поприще*, старался себе изобразить его в виде смертельного врага <...> преследовал его злобой, насмешкой и всем чем ни попало <...> [Д]ля первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны *черты* от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется только в *разжалованном виде из генералов в солдаты*. Тут, кроме *моих собственных*, есть даже *черты* многих моих приятелей <...> Герои мои еще не отделились вполне от *меня самого* <...>

Я <...> не люблю *моих мерзостей* и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех *низостей моих*, которые отдалают меня от добра. Я воюю с ними <...> Я уже от многих *своих гадостей* избавился тем, что *передал их своим героям*, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться <...>»

Правда, свое производство в генералы Гоголь искусно смазывает употреблением обобщённого множественного числа (говоря о «*тех, которые* считают себя лучшими других», и далее о разжаловании «из *генералов в солдаты*») и сдвигом акцента на разжалование; возможно, потому оно и ускользает от нашего внимания. Однако вся риторика этого пассажа нацелена, прежде всего, на *собственные* недостатки автора (в порядке появления в тексте: *дурные качества, гадости, дрянь, дурные свойства, черты, мерзости, низости, гадости*). И, значит, генеральский чин присваивается в первую очередь именно автору, которому затем и предстоит с ним расстаться. Впрочем, по успешном избавлении автора от *собственной дряни* путем передачи её отрицательным персонажам, можно ожидать восстановления его в звании.

Этот знаменательный фрагмент из «Выбранных мест» я приводил, в статьях и лекциях, неоднократно, причем в связи как с самим Гоголем, так и с Зоценко, тоже наделявшим своих комических персонажей собственными чертами. Но прочертить от него напрашивающуюся прямую линию к общей гоголевской помешанности на идее чина мне в голову не приходило.

В чём тут дело?

Когда в 1967 г. я впервые оказался в Польше и гостил у польской лингвистки Ирены Беллерт, из уст её сына, молодого красавца Анджея (сейчас ему, если он жив, должно быть 70), я услышал фразу, обращенную к Ирене и запомнившуюся мне навсегда:

– Powoli kojarzysz, matko! (букв. Медленно соотносишь, мать!)

Запомнил я также, что её краткую версию, усеченную до одного только первого слова, этот фанатик интеллектуального динамизма пускал в ход чаще, чем полную, для него, видимо, чересчур длинную.

Не то чтобы Ирена страдала заторможенностью мысли; это была прекрасная лингвистка, в дальнейшем получившая работу в Канаде (в Университете Мак-Гилл). Да и себя я привык относить числу сравнительно быстрых разумом невтонов. Но жизнь то и дело, со снисходительной интонацией Анджея, напоминает о перспективе разжалования рядовые:

– Powoli...

Чему вас учут?!

Наряду с хрестоматийными *arte dicta* запоминаются и словечки, сказанные кем-то невеликим в простоте душевной.

– I have my Dickens, «У меня есть мой Диккенс» (о ненужности новых книг; 1960-е годы).

– Зачем еще ангина, если уже есть грипп? (о болезнях детей; 1960-е).

- Вот так, значит, нас, трудящихся?! (о подорожании сигарет; 1970-е).
- ЗА-БУДЬ-ТЕ Э-ТО СЛО-ВО!.. (зам. секретаря парткома в ответ на просьбу выдать характеристику «в рабочем порядке»; 1970-е.)
- Ракообразные!.. (о новом местечке с seafood; 1980-е).
- И ученики потянулись за учителем? (было как раз наоборот; 1990-е).
- Ну ты эта, смари, шоб в самолет кто не зашел! (напутствие перед рейсом; 2000-е).

А на днях всплыло нечто из чуть ли не 1940-х:

- Образ Ольги не совсем удался Пушкину.
Это написал в школьном сочинении какой-то ученик, видимо, 8-го класса (мне рассказал его одноклассник).
- Гнев учительницы не имел границ:
– Что ты пишешь?! «Образ Ольги не совсем удался Пушкину»! Чему вас учут? Разве Вас учут, что не удался?! Вас учут, что удался!.. Двойка!..

Как у этого демифологизатора получился такой маленький шедевр, мы не знаем и уже не узнаем. Наверно, сказалось очевидное предпочтение, отдаваемое Онегиным, да и самим Пушкиным, Татьяне, но откуда взялась эта зрелая, в целом сочувственная, но добросовестно, по-аптекарьски, дозированная в своей объективности интонация? Просочилась из разговоров взрослых? Из слов той же учительницы о каком-нибудь менее бесспорном авторе? «Образ Стародума не совсем удался Фонвизину»? «Образ Софьи не совсем удался Грибоедову»?

Так или иначе, фраза хороша, а ещё лучше она по контрасту с истеричной реакцией преподавательницы, от которой ожидалось бы что-нибудь более взвешенное.

По контрасту, который и не даёт этому диалогу уйти в прошлое. Ведь счёты у нас сегодня не с классиками (они – какие есть, такие и есть), а с их блюстителем, то иступленно топающими на каждое «не совсем» ногами, то насупленно его замалчивающими. Дело не в Ольге, а в том, что образ Пушкина (Хлебникова, Ахматовой...) не совсем – или чересчур? – удался литературному истеблишменту.

Из истории звукозаписи

Задолго до изобретения соответствующей аппаратуры, возможность сохранения и воспроизведения такой, казалось бы, мимолётной сущности, как звук, волновала воображение.

Всем, особенно русским читателям, знакомо вот это место из «Приключений барона Мюнхгаузена» Бюргера–Распе:

Я напомнил кучеру о том, что нужно протрубить в рожок, иначе мы рисковали <...> столкнуться со встречным экипажем <...> Парень поднёс рожок к губам и принялся дуть в него изо всей мочи. Но все старания его были напрасны: из рожка нельзя было извлечь ни единого звука <...>

На постоялом дворе <...> кучер повесил свой рожок на гвоздь подле кухонного очага, а я уселся напротив него <...> Внезапно раздалось: “Тра! Тра! Та! Та!” Мы вытаращили глаза. И тогда только мы поняли, почему кучер не мог сыграть на своём рожке. Звуки в рожке замерзли и теперь, постепенно оттаивая, ясные и звонкие, вырывались из него <...>

Этот добрый малый значительное время услаждал наш слух чудеснейшими мелодиями, не поднося при этом своего инструмента к губам. Нам удалось услышать прусский марш, “Без любви и вина” <...> и ещё много других песен, между прочим <...> “Уснули леса...” Этой песенкой

закончилась история с тающими звуками, как и я заканчиваю здесь историю моего путешествия в Россию.

А в записных книжках князя П.А. Вяземского есть такой фрагмент:

Англичане роман рассказывают, французы сочиняют его; многие из русских словно переводят роман с какого-нибудь неизвестного языка, которым говорит неведомое общество. Гумбольдт (разумеется, шутя) рассказывает, что в американских лесах встречаются вековые попугаи, которые повторяют слова из наречий давно исчезнувшего с лица земли племени. Читая иные русские романы, так и сдается, что они писаны со слов этих попугаев».

Выдумка про замороженные звуки, конечно, изощреннее, зато Вяземский не ограничивается привычным звукозаписывающим эффектом гумбольдтовского попугая (при всей оригинальности выступления последнего в роли полевого лингвиста) и пристраивает к нему второй аналогичный прибор: русский роман начала XIX века. Но, что характерно, чудесная консервирующая сила настойчиво – тщанием будь то иноплеменных фантастов или отечественного виньетиста – ассоциируется с Россией.

Stranger than fiction

Есть мнение, что всё давно написано, так что ничего нового сочинять не надо, можно расслабиться и наслаждаться имеющимся. Если же руки очень чешутся, – заняться монтажом наличных текстов, а еще лучше их сокращением. Последнее не только избавляет читателя от излишних, как выражался Толстой, авторских «элукубраций» (вспомним «конспективную лирику» Гаспарова), но может давать и собственный – острабяющий – эффект.

Разбирая с американскими первокурсниками «Лёгкое дыхание» я, среди прочего, подчеркивал его отличие от многословного «Гранатового браслета». Почти всем купринский рассказ понравился гораздо больше бунинского, и тогда в число возможных домашних заданий я включил вольное упражнение: вырезать из текста Куприна и склеить в единое повествование ровно столько текста, сколько у Бунина. За это взялся всего один студент – и удивил меня. Я думал, что он облегчит повествование не только количественно, но и качественно, – сделает из него нечто подобное бунинскому. Он же, наоборот, отобрал все самое мелодраматичное и озаглавил соответственно: *Heavy Panting* («Тяжелое пыхтение»). Я, конечно, поставил ему A plus (пять с плюсом), но его сочинения не сохранил, а жаль.

Текст, к которому я собираюсь приступить с монтажными ножницами, хорош уже сам по себе, причём не вымышлен, то есть и сочинён-то лишь отчасти. Но ради придания ему дальнейшей краткости, а заодно некоторой загадочности, я позволяю себе кое-что опускать, в частности заменять имена и фамилии инициалами, и даже слегка редактировать. Итак:

Иногда к папе приезжали гости. Большею частью это бывали умные люди, с которыми он говорил о серьёзных вопросах, нам, детям, недоступных.

К П.Ф. мы были довольно равнодушны. Раз только мы приняли очень живое участие в папином споре с ним – по поводу резвости скаковых лошадей. Папа утверждал, что степные лошади не менее резвы, чем английские, П. Ф. же с презрением отрицал это.

Тогда папа предложил ему побиться об заклад. Папа должен был пустить скакать свою степную лошадь, а П.Ф. свою английскую. Мы, разумеется, всей душой стояли на стороне папы, но,

к большому нашему огорчению, принадлежавший П.Ф. англичанин блестяще обскакал нашего степняка.

А.А. мы не особенно любили. Нам не нравилась его наружность: маленькие, резкие чёрные глаза без ресниц, с красными веками, большой крючковатый сизый нос, крошечные, точно игрушечные, выхолненные белые ручки с длинными ногтями, такие же крошечные ножки, обутые в маленькие, точно женские, прюнелевые ботинки; большой живот, лысая голова – всё это было непривлекательно. Кроме того, он имел привычку очень тянуть слова и между словами мычать. Иногда он начинал рассказывать что-нибудь, что должно было быть смешным, и так долго тянул, так часто прерывал свою речь мычанием, что терпения не доставало дослушать его, и в конце концов рассказ выходил совсем не смешным.

Мои родители очень любили его. Мы недоумевали и даже раз дружно посмеялись над почтенным А.А. Как-то вечером мы, дети, сидели в зале за отдельным столиком и что-то клеили, а “большие” пили чай и разговаривали. До нас доносились слова А.А., рассказывающего своим тягучим голосом о том, какие у него скромные вкусы и как легко он может довольствоваться очень малым.

– Дайте мне хороших щей и горшок гречневой каши... ммммммм... и больше ничего... Дайте мне хороший кусок мяса... ммммм... и больше ничего... Дайте мне... ммммм... хорошую постель... и больше ничего.

И долго, мыча в промежутках между своей речью, А.А. перечислял все необходимые для его благополучия предметы, а мы, сидя за своим отдельным столиком, подталкивали друг друга под локоть и, сдерживая душивший нас смех, шепотом добавляли от себя еще разные необходимые потребности.

– И дайте мне по коробке конфет в день – и больше ничего, – шептал мой брат, захлёбываясь от смеха.

– И дайте мне хорошей зернистой икры и бутылку шампанского – и больше ничего, – подхватывала я тоже шепотом.

С А.А. приезжала его жена – милая, добрая М.П. Ее мы любили гораздо больше, чем её знаменитого мужа.

Но не все гости папа были умные и спорили с ним о высоких, непонятных нам, предметах. К нему езжал ещё наш сосед Н., с которым разговоры были всегда более простые и нам доступные. За это ли или за то, что Н. обращал на меня внимание, я его очень любила. Он был молодой, красивый и весёлый. Когда он приезжал к нам, я всегда, когда могла, сидела в гостиной с “большими”, и слушала его и смотрела на него.

Раз как-то Н. был у нас в гостях, и мы все вместе сидели в гостиной. Был вечер, и в назначенный для нашего спанья час Х. увела меня в детскую. Мне было очень горько расставаться с Н., но делать было нечего, послушаться нельзя было.

Вымывши в ванне брата, Х. по старшинству посадила после него меня. Намыливши мне голову, она на минутку отошла, чтобы достать кувшин чистой воды для окатывания. Вдруг мне мелькнула смелая мысль. Я воспользовалась тем, что Х. отвернулась от меня, и с быстротой молнии выскочила из ванны. Стремглав, как была, помчалась я в гостиную, оставляя после себя на полу следы мокрых ступней.

В гостиной я остановилась посреди комнаты перед Н. и, торжественно разведя руками, проговорила:

– Вот она, Таня!

Не знаю, что он подумал, увидя перед собой голенькую фигуру, с стекавшей с нее водой и с мылом, торчащим в виде битых сливок на голове, но я знаю, что мама пришла в ужас и отчаяние и, схватив меня в охапку, снесла к Х. Та уже хватилась меня и по мокрому следу бежала за мной.

– Боже мой! Что выйдет из этой девочки? – в ужасе говорила мама...

Как-то мы все трое заболели скарлатиной. Один брат был легко болен, другой сильнее, а я чуть не умерла. Мама рассказывала, что я несколько дней была в бессознательном состоянии и все боялись, что я не вынесу болезни.

Помню, как стало мне полегче. Я лежу в своей кроватке и испытываю чувство блаженства. Братья тоже оба в постели. Приходит папа и садится около меня.

– Ну что, Чурка? Всё притворяешься, что больна? – говорит он. Он смотрит на меня с нежностью, и я чувствую, что сейчас можно просить у него всё, что угодно. Но мне просить нечего. Я беру его большую сильную сухую руку в свою и снимаю с его безымянного пальца его

обручальное кольцо. Он мне этого не запрещает, а продолжает смотреть на меня с нежной улыбкой. Я играю кольцом, пока оно не выскользывает у меня из руки и не закатывается так далеко, что никто не может его найти. А папа меня за это не упрекает и терпеливо ждет, пока А. М. ищет кольцо в какой-то щёлке под кроватью.

Таня – девочка явно инициативная, за словом, да и делом, в карман не лезет. В одном эпизоде она мастерски пародирует гостя, любимого и почитаемого родителями. В другом она, шести-семилетняя, исполняет эксгибиционистский номер, достойный пера Набокова. В третьем символически разводит отца с матерью, недаром уже задавшей вопрос, что из неё выйдет.

Сюжет заиграет еще более яркими красками, если знать, кто его участники. Рассказчица – Татьяна Львовна Сухотина-Толстая (1864–1950), воспоминания которой были опубликованы в России лишь четверть века спустя после ее смерти в эмиграции (в Риме).

Дело происходит году в 1870–м.

Папа, то есть не просто папа, а папá, – это Лев Николаевич Толстой. П.Ф., выигрывающий у него пари, поставив на свою импортную лошадь против его отечественной, – Петр Фёдорович Самарин, тульский помещик, член известной семьи славянофилов.

Жидоватый зануда А.А. – это Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин), а М.П. – Мария Петровна Фет (ур. Боткина). Фета рассказчица и в дальнейшем сможет разве что уважать – соответствующее место читается так: «выросши, я полюбила истинное поэтическое дарование Афанасья Афанасьевича и научилась ценить его широкий ум».

Н. – Николенька (Николай Владимирович) Арсеньев, владелец соседнего имения; он старше влюблённой в него Тани почти на 20 лет. Х. – Ханна Егоровна Терсей (Tersey), любимая англичанка-воспитательница; в дальнейшем она выйдет замуж за грузина, как водится, князя (Д.Г. Мачутадзе). А.М. – Агафья Михайловна (1808–1896), старая горничная П.Н. Толстой, бабки Л.Н., жившая при нем в Ясной Поляне.

Братья рассказчицы – это, конечно, Сергей (старше ее на год) и Илья (младше на два года), а мама – мамá – Софья Андреевна Толстая (ур. Берс). Колечко найдётся, инцеста не произойдет, но совместная жизнь родителей, да и детей, будет непростой.

Грозный, но не Terrible

Во вступительной лекции к курсу «Шедевры русской новеллистики» (три десятка рассказов в английском переводе, от «Бедной Лизы» до «Случая на станции Кочетовка») первые полчаса я уделяю беглому обзору российской истории. При всей своей общеобразовательной невинности, многие из калифорнийских первокурсников оказываются способны сходу идентифицировать наших великих правителей, радостно подхватывая подсказку: Peter?.. the Great!.. Catherine?.. the Great!.. Ivan?.. the Terrible! Ну, насчёт того, что у нас Пётр и Екатерина обычно проходят не как Великие, а как Первый и Вторая, я не занудствую, а вот на неадекватности принятой формулы Ivan the Terrible, – увековеченной названием эйзенштейновского фильма (среди слушателей встречаются будущие киношники), – слегка задерживаюсь.

Неадекватность очень характерная. Terrible значит не только «страшный, ужасающий», но и попросту «плохой, негодный». Можно, например, сказать, что погода

(еда, поездка...) была terrible – в самом обыденном смысле, без налёта трагедийности. То есть, гамма значений слова terrible отчётливо негативна, но не целиком возвышенна.

Напротив, русское прилагательное грозny – и, соответственно, прозвище Ивана, объясняю я, – родственно словам гроза (в обоих значениях), угроза, грозить, то есть «thunderstorm», «menace», «threat», «to threaten». Его смысл неизменно серьёзен, масштабен, нешуточен, но, как ни странно, объективен и, пожалуй, невольно позитивен. Даже не сулящий ничего хорошего «грозный враг» звучит вчуже уважительно. В приложении же к вождю, царю, повелителю, эпитет Грозный теряет последние намёки на недовольство. Причём не потому, чтобы речь шла об угрозе исключительно для врагов, – отнюдь нет, а потому, что «русские» (здесь мне приходится с извинениями за неполиткорректность прибегнуть к этническому стереотипу) уважают только силу, жаждут твёрдой руки, любят палку, считают, что раз бьёт, значит, любит, и вообще, бей своих, чтобы чужие боялись.

Иными словами, Иван Грозный – прозвище не оскорбительное, а почтительное, хвалебное, любовное. Так что правильнее был бы перевод типа Ivan the Terrific, – если бы terrific не утратило полностью свои «ужасные» обертоны, превратившись в сугубо восхищённую характеристику. Или, ещё лучше, Ivan the Awesome, – если бы awesome, которое в литературном языке значит «внушающий благоговейный трепет», не значило на молодёжном жаргоне «отлично, потрясно, клёво, круто». Зато, продолжаю я, можно видеть, что и в английской семантике от «страха» до «восхищения» всего один шаг. Тем более – в русской, что позволяет перейти к разговору об отсутствии в России традиций плюрализма, демократии и прав человека, а там и к нынешней реставрации авторитарного режима и реабилитации Сталина – «эффективного менеджера».

Что это с руки властям предержавшим, понять нетрудно. Но даже и они упирают всё-таки не на свирепость менеджера (поощрявшего восхваление Ивана Грозного и запретившего его проблематизацию Эйзенштейном), а на его якобы эффективность. Но что заставляет заглатывать эту наживку тех, кому ничего хорошего от такой эффективности ждать не приходится? Неужели загадочная русская душа буквально взывает о мучениях? Или дело в «стокгольмском синдроме», согласно которому заложники перенимают мировосприятие террористов?

...Здесь я оставляю в покое своих первокурсников и обращусь к периодически занимающей меня теме – ахматовской. Но не к смерти Гумилёва, не к мытарствам их сына, не к Постановлению ЦК 1946 г. и не к позднему культу самой Ахматовой, а к относительно вегетарианскому 1925 году.

Из записей П.Н. Лукницкого (её тогдашнего конфиденанта – отчасти литературного секретаря, отчасти, по-видимому, любовника и, не исключено, стукача):

17.07.1925 <...> Шли по Фонтанке. АА сказала, что читает Ключевского... [Он о]чень хорошо излагает <...> Полёт мысли, талант большой, громадные знания... <...> АА восхищается Иваном Грозным – так гениально управлял государством, такую мощь создал и умел давать её чувствовать, так организовал и т. д. Приводила примеры из истории царствования Ивана Грозного...

Поразительно! В своё время я каким-то образом пропустил это место, хотя оно как нельзя лучше пригодилось бы в моей работе над жизнетворческим портретом ААА в качестве своего рода Сталина в юбке.

И любопытно, как ей удалось вычитать такое из истории Ключевского, который даёт Ивану взвешенную, но в целом негативную, оценку, отмечая его учёность и литературный дар, но никакой эффективности за его менеджерством не признавая?!

Однако из всех этих усилий ума и воображения царь вынес только простую, голую идею царской власти без практических выводов <...> Увлечённый враждой и воображаемыми страхами, он упустил из виду <...> потребности государственной жизни и не умел приладить своей отвлечённой теории к местной исторической действительности. Без этой практической разработки его возвышенная теория верховной власти превратилась в каприз личного самовластия, исказилась в орудие личной злости, безотчётного произвола. Потому стоявшие на очереди практические вопросы государственного порядка остались неразрешёнными <...> Одностороннее, себялюбивое и мнительное направление его политической мысли при его нервной возбуждённости лишило его практического такта, политического глазомера, чутья действительности, и, успешно предприняв завершение государственного порядка, заложенного его предками, он незаметно для себя самого кончил тем, что поколебал самые основания этого порядка.

Может, Лукницкий что-то не так понял? Или она сама? А ведь культурная женщина, «с раньшего», как выражался Паниковский, времени, окончившая гимназию, и отнюдь не из красных, хотя зналась как с земщиной (Гумилёвым, Анрепом), так и с опричниной (Лурье, Пуниным, Лукницким)... Или она просто не до конца дочитала (царствованию Грозного у Ключевского посвящены главы 28–30, и сначала говорится о попытках благодетельных реформ)? Или дело... в некоем родстве душ – в фиксации «Анны всея Руси» на идее власти и самоотождествлении с великими властителями?

С детства затверженные <...> любимые библейские тексты и исторические примеры все отвечают на одну тему, все говорят о царской власти, о её божественном происхождении <...> Упорно вчитываясь в любимые тексты и бесконечно о них размышляя, Иван постепенно и незаметно создал себе из них идеальный мир, в который уходил, как Моисей на свою гору, отдыхать от житейских страхов и огорчений. Он с любовью созерцал эти величественные образы ветхозаветных избранников и помазанников Божиих – Моисея, Саула, Давида, Соломона. Но в этих образах он, как в зеркале, старался разглядеть самого себя, свою собственную царственную фигуру, уловить в них отражение своего блеска или перенести на себя самого отблеск их света и величия. Понятно, что он залюбовался собой, что его собственная особа в подобном отражении представилась ему озарённую блеском и величием, какого и не чуяли на себе его предки, простые московские князья–хозяева <...>

Важнее отрицательное значение этого царствования. Царь Иван был замечательный писатель, пожалуй, даже бойкий политический мыслитель, но он не был государственный делец.

Кстати, Ахматова своими владениями, – к счастью, не государственными, а сугубо литературными, – распорядилась, в отличие от Ивана, вполне эффективно.

ИЗ КНИГИ «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА...» (2016)

Пятое марта

В начале марта 1953–го мне было шестнадцать с половиной. Я учился в девятом классе московской школы № 50 (в Померанцевом переулке), каковую в дальнейшем окончил с золотой медалью, что помогло при поступлении на филфак МГУ.

Мы жили в доме № 41 по Метростроевской улице (ныне опять Остоженке). Мой родной отец утонул, когда мне ещё не было года, во время байдарочного похода по Белому морю, – то есть умер в 1938 г., как говорится, своей смертью, а не в лагерях, и во время войны мама вышла замуж за своего любимого консерваторского профессора (Л. А. Мазеля).

На маминой семье сталинские репрессии вроде бы не отразились, их роль взяли на себя гитлеровские. Мама была из Киева, её родители, Семён Соломонович и Софья Соломоновна, продолжали жить там, – мой дед был знаменитым в городе врачом. Оказавшись под немцами, они по вызову оккупационных властей (дед учился в Германии и полагал, что эту культурную нацию хорошо знает, советской же пропаганде не верил) дисциплинированно явились на сборный пункт, хотя многие знакомые предлагали их укрыть, и погибли в Бабьем Яре.

В папиной семье, – а по матери он принадлежал к родовитому клану Урысонов и был двоюродным племянником великого математика Павла Урысона, – репрессированы были многие. Один дядя, Исаак Савельевич, был арестован в 1938 г. непосредственно в папином присутствии. Они жили в одной квартире, и тот успел передать папе свою пишущую машинку, чтобы хотя бы её не забрали!

Сам папа арестован не был, но попал под антиформалистическую кампанию 1948 г. и антикосмополитическую (читай – антисемитскую) 1949 г. Он был уволен из Московской консерватории, где профессорствовал смолоду, и восстановлен лишь после смерти Сталина.

Поскольку семья была музыкальная, тот факт, что в один день со Сталиным умер Прокофьев (которого я однажды, уже после 1948 г., видел), всячески муссировался, и в дальнейшем часто применялась шуточно–конспиративная фраза «при жизни / после смерти Прокофьева».

Моё стояние в траурном карауле в школе было кратким, школьники сменялись у скромно смотревшегося портрета в чёрной рамке каждые 10 минут. Это было какое–то выгороженное пространство в нижнем вестибюле школы, по дороге от входа в здание мимо вешалки в буфет; помню много красного и чёрного цвета, а в целом ощущение света, наверное, от солнца.

До смерти Сталина и некоторое время после неё репрессии дома не обсуждались – родители берегли меня и себя. О существовании такой внутренней цензуры говорит, например, следующая история. С 1950–го года шла корейская война, прекращённая вскоре после смерти Сталина (в то время северокорейцы во главе с Ким Ир Сенем своего советского начальства слушались), и я с боевым энтузиазмом отмечал красным карандашом на печатавшихся в «Правде» картах успехи «наших», с людоедским нетерпением ожидая, когда же американцев наконец сбросят в море у Пусана, доставляя родителям, как теперь понимаю, молчаливые моральные муки.

На похороны Сталина отправились некоторые из моих школьных приятелей, но никто из них на этой ходынке не погиб. Меня не пустили родители, да я и не рвался.

Разговоров о знаменитом дыхании Чейна–Стокса из того дня не запомнил, узнал о его знаменательности лишь из позднейшего общения с друзьями–диссидентами и чтения мемуаров. Атмосферы типа переданной в фильме Германа «Хрусталёв, машину!» в доме и вокруг не было.

Зато хорошо помню, что когда во время дела врачей незадолго до его смерти в школе на перемене возник вопрос о предательской природе евреев, большинство ребят

этому воспротивилось – на устах у всех сразу возник вопрос: «А как же Миша Коган?» Миша Коган был отличник из параллельного 9-го «А», умница, симпатяга, и говорить о нём плохо язык ни у кого не повернулся. Как известно, сразу после смерти Сталина дело врачей было прекращено. В школе, кажется, никто не пострадал – репрессий и исключений не было.

Напротив, пока шла антисемитская кампания и многие евреи были уволены с работы (как папа), преподавателем к нам в школу поступил изгнанный из Института Государства и Права блестящий преподаватель истории Зиновий Михайлович, по прозвищу, естественно, Зяма; фамилии память не сохранила, а, возможно, мы её тогда и не знали. Папа тем временем тоже работал в учреждении рангом ниже Консерватории – в Институте Военных Дирижёров, а некоторым его уволенным коллегам удавалось устроиться только «на периферии», где-нибудь аж в Баку, и летать туда по несколько раз в месяц. В 1954-м папа вернулся в консерваторию, а Зиновий Михайлович в свой институт.

Смерть Сталина я не переживал особенно сильно. Вообще, я, по-видимому, был как-то в этом смысле заторможен. Не исключаю, что сыграло роль массированное вытеснение по Фрейдю. Не могу припомнить, отменялись ли занятия в классах, какая была погода, что говорилось в школе и дома, кроме уже отмеченного. А начавшие появляться и быстро развивавшиеся признаки оттепели, арест и смерть Берии, так называемое преодоление культа личности Сталина, – всё это вскоре отодвинуло Сталина на задний план. Но навсегда запомнилась фраза из редакционной статьи в «Правде» (примерно 1954 г.), задававшая разоблачениям этого великого революционера, не лишённого, к сожалению, отдельных недостатков, умеренный тон: «Личная трагедия Сталина состояла в его чрезмерной подозрительности». Плаксивать предлагалось страдания не миллионов репрессированных, а сложной сталинской личности.

С раннего детства привыкнув к повсеместным портретам Сталина и его изображению в кино (включая недавнее «Падение Берлина»), я был убеждён в его красоте, даже нет, не убеждён, это не то слово, – я непосредственно воспринимал его как красавца. Помню его портрет в газете, вскоре после конца войны, когда он присвоил себе звание генералиссимуса. Он снялся в новой белой парадной форме, сидя в кресле, с руками на подлокотниках и скрещёнными ногами, очень, как мы бы сейчас в Калифорнии сказали, relaxed, и симпатичный донельзя.

Проходила эта эстетическая установка лишь постепенно. Я вспомнил о ней, когда однажды потом стал спрашивать знакомых немцев, как их соотечественникам мог казаться харизматичным Гитлер, с его столь очевидно неприятным лицом, противными манерами и отталкивающим ораторским стилем! Поймал себя на противоречии и осёкся.

Да, помню, как в какой-то чёрно-белой хронике с майского или ноябрьского парада увидел, что Сталин – маленького роста, с измождённым лицом, узнаваемым, но далеко не великолепным, что произвело разочаровывающее действие. Когда это было, до или после, не уверен.

Моё развитие в диссидентском направлении началось с чтения Анатоля Франса и Оскара Уайльда и было тоже очень постепенным. Большую роль в нём сыграла преподавательница немецкого языка, Ольга Николаевна Михеева, работавшая агитатором нашей английской группы первого курса романо-германского отделения филфака МГУ (1954–1955). Её инквизиторские методы работы, натравливание одних на других, поощрение доноительства и тому подобные приёмы навсегда посеяли во мне брезгливое недоверие к лицемерным стратегиям власти.

Оттепель я воспринял очень оптимистически, а потом оптимистически участвовал в подписанстве и вообще верил, вместе со щедринским карасём, что скоро наступит эра добра и разума. И до сих пор удивляюсь, что это она всё никак не наступает.

Холодные руки

Недавно какой-то блоггер написал, что в своих виньетках я слишком упираю на смерть – персонажи у меня мрут, как мухи. Что тут скажешь?! Учитывая, сколько мне и моим героям лет, удивительного мало. Хотя не буду отрицать, что иногда не без удовольствия отвожу смерти роль законной развязки.

А на днях один молодой человек, знакомый знакомых, сказал, что у меня очень интересное, экзотическое имя – Алик. Пришлось объяснить, что в 30-е годы родители часто выбирали такое уменьшительное от Александр, и среди моих сверстников Алики не редкость. Так, в школе, в параллельном классе «А» у меня обнаружился тёзка – Алик Тугаринов.

Я уже писал, что «А» был заповедником гениев, к которым меня, естественно, тянуло из плебейского «Б». Когда в наш предпоследний год учительница литературы, Ольга Михайловна Старикова, организовала вечерний литкружок, в него записались сплошь джентльмены из 9-го «А» и только один я из нашего.

Там своими внеклассными познаниями, – например, знакомством с Достоевским, не входившим в школьную программу и мною ещё не читанным, – блистали Миша Коган, Саша Самбор, Алик Тугаринов и другие, чьих имён не помню. В своём докладе о Чернышевском Алик между прочим упомянул, что граф Л.Н. Толстой называл его «клоповоняющим господином». Я был потрясён.

Мы не то чтобы подружились, но познакомились, стали общаться на переменах и после уроков; домой друг к другу, однако, не ходили.

Алик был невысок, коренаст и очень крепко сложен. На физкультуре бросались в глаза его бицепсы, – он, по-видимому, занимался гантелями, если не гирями. Сочетание малого роста с мощным торсом наводило на неловкую мысль об инвалиде, в коляске и с компенсаторно развитыми мышцами рук.

У него было внушительное лицо, хорошо вылепленные лоб, нос и подбородок, густые тёмные волосы. Он носил очки и смотрелся породистым интеллектуалом. На породе и даже дворянском происхождении Алик очень настаивал.

Это былое дворянство естественно вписывалось в ту общую стилистику интеллектуального фрондёрства, которая выстраивалась из чтения полузапретного Достоевского, солидарности с гр. Толстым и презрения к революционному демократу, перепахавшему своим романом юного Ленина. Согласовалось оно и с нынешней бедностью. Семья Алика жила в подвале, и ходил он всегда в одном и том же потёртом тёмно-синем костюме. Но именно в костюме, в белой сорочке и при галстуке.

О его бедности я узнал случайно. Однажды он пришёл в школу в каких-то странных перчатках с обрезанными кончиками пальцев. Я спросил, что это значит.

– В доме никогда не топят, руки мёрзнут, – с каким-то усталым вызовом объяснил он. – От этого они всегда красные, как у мясника.

Тут я вспомнил, что давно заметил эту красноту, но счёл чем-то само собой разумеющимся, частью его облика могучего карлы. Мне стало стыдно – и этой

невнимательности, и вообще всей своей благоустроенной жизни мальчика из хорошей семьи, которому мысль о замерзании рук не могла прийти в голову.

Конец нашему знакомству наступил вместе с окончанием школы, весной 1954-го. С несколькими другими соучениками контакты сохранились, а с Аликом нет. Потому что, когда однажды заговорили о том, кто куда собирается поступать, он объявил, что выбрал школу при КГБ. На наши удивлённо поднятые брови он ответил, что там и учат хорошо, и стипендия получше, и перспективы пошире, ну, и разумеется, что органы отныне не такие, как при Бериин.

Больше я его никогда не видел, ничего о нём не слышал и никакой убийственной пуанты у меня в запасе нет. Чем кончить, совершенно не знаю. В голове вертятся строчки: «Леди долго руки мыла, Леди крепко руки тёрла».

Неполный контроль

На всемирном форуме о мировом значении русской литературы в Москве в декабре 2004 г. среди прочих выступала моя когдатошняя сокурсница Т. За истёкшие полстолетия она мало изменилась. Она была всё такая же худая и высокая, держалась так же прямо и говорила так же, как тогда, – тихо, обстоятельно и безапелляционно. Первокурсницей она точно знала, что будет заниматься театром Чехова, и теперь, прозанимавшись им всю жизнь и став первым театроведом страны, а может быть, и планеты, она тем же, но уже вполне заслуженно учительским голосом описывала повсеместную востребованность чеховских постановок, сведения о которых стекались к ней с пяти континентов. Слушая её, я представил себе карту мира, покрытую флажками и прямыми линиями с точкой пересечения в Москве, висящую на стене её чеховского кабинета номер один.

Предавшись этим размышлениям, я отвлёкся, но был вскоре возвращён назад переменной в интонации докладчицы. К её невозмутимо эпическому тону примешалась какая-то беспокойная нота. Впрочем, и она звучала в мажоре, освежённом этими неожиданными модуляциями:

– И вы знаете, доходит до того, что где-то в Новой Зеландии ставят «Чайку», совершенно не консультируясь с нами, и мы только потом стороной узнаём, а они сами нам даже не сообщают.

ИЗ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» (2012. № 12)

О политических взглядах

Из истории известно, что первым шагом к развалу социалистического лагеря, а там и СССР, стало освобождение Югославии от советского контроля в 1948 году. Но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят, – об одной апокрифической версии этого эпизода международной дипломатии.

Я услышал её от папы. Анекдоты о Сталине были любимым жанром его поколения. Они сочетали критический взгляд на величайшего гения всех времён и народов с подсознательным восхищением его властной магией. Особенно же волнующими были те – единичные – случаи, когда сталинская коса находила на камень. Новелла о поединке

Сталина и Тито, «двух Иосифов», относилась именно к этой категории. Речь Сталина папа передавал с характерным грузинским акцентом, который я обозначаю лишь местами.

Сталину доложили, что Иосип Броз Тито и Георгий Димитров обсуждают создание Балканской федерации, куда наряду с Югославией и Болгарией вошла бы и Албания, и что они на свой страх и риск поддерживают революционное движение в Греции.

Сталин вызвал Тито к себе. Тот немедленно прилетел в Москву на своём самолёте и на машине югославского посольства приехал в Кремль.

Сталин заговорил с ним в своей обычной отеческой манере:

– Ну, расскажи, что это вы там затеваете?

– Кто мы? Никто ничего не затевает, товарищ Сталин.

– Ну как же, говорят, вы с Димитровым что-то задумали на Балканах.

– А-а, это об объединении социалистических народов Балканского полуострова?

– Значит, ты этого нэ отрицаешь?

– Зачем же отрицать, – идея, нам кажется, хорошая, прогрессивная.

– Прогрессивная, прогрессивная. Пачиму же вы тогда решили действовать за моей спиной?

– Как это за спиной, Иосиф Виссарионович?! Мы просто не хотели морочить вам голову сырыми идеями, хотели подготовить дело, чтобы вы могли сказать своё веское слово.

– Голову не хотели морочить?! Это правильно. Зачём зря голову морочить?.. Ладно, приходи завтра, вместе подумаем...

И Сталин посмотрел на Тито своим лучистым взглядом из-под бровей, давая понять, что аудиенция окончена.

Тито вышел, бросился в машину, погнал на аэродром, к своему самолёту, улетел в Белград, арестовал сталинских агентов, закрыл границы, привёл войска в боевую готовность – и стал первым коммунистическим лидером, безнаказанно ослушавшимся Сталина. Сталин организовал против него идеологическую кампанию, пытался задушить Югославию экономически, подсылал к нему убийц – всё безуспешно. Тито пережил его, дождался приезда Хрущёва в Белград с извинениями, но своего независимого курса не изменил и диктату из Москвы не подчинился.

В чём был его секрет? Он прекрасно разбирался во *взглядах* товарища Сталина и других товарищей.

ИЗ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» (2015. № 8)

Нет человека – нет проблемы?

Последний абзац «Защиты Лужина» знаменит тем, что герой впервые называется по имени отчеству в момент своей гибели.

Дверь выбили. «Александр Иванович, Александр Иванович!» – заревело несколько голосов. Но *никакого Александра Ивановича не было*.

И, конечно, в память врезается финальное *не было* – благодаря своей вызывающей холодности и языковой неправильности. Ведь в этой ударной фразе нет не только никакого Александра Ивановича, но и никакого обстоятельства места, никакого *там*.

Отчётливо подразумеваясь, оно тем нагляднее блистает своим текстуальным отсутствием, вторящим реальному отсутствию героя.

Это не Набоков придумал. Экзистенциальное небытие предрасполагает к словесному. Фирменный пример – гамлетовское *To be or not to be...* тоже грамматически неполное, просто за века настолько обкатанное, что неполнота не чувствуется.

Что позволено модернисту, то в реалистической прозе только проклёвывается.

А главное, что хуже всего, *у неё уже не было никаких мнений*. Она видела кругом себя предметы и понимала всё, что происходило кругом, но *ни о чём не могла составить мнения...* А как это ужасно *не иметь никакого мнения!*..

И так день за днём, год за годом, – и ни одной радости, и *нет никакого мнения*.

Лишь с четвёртой попытки отсутствующее *мнение* отделяется от своего владельца и повисает в воздухе в виде дерзко самодостаточной, ибо грамматически сомнительной, сущности. Результат вполне сюрреальный: *нет никакого мнения* и неизвестно, *где нет, у кого нет и даже когда нет*. В предыдущем абзаце его *не было* в некий определённый момент в прошлом, а теперь нет как бы уже никогда – нет вообще, нет в природе.

+

Так что Набоков вполне мог ориентироваться на Чехова – если не на Гоголя, с его *Числа не помню. Месяца тоже не было*, где языковой сюр мотивирован сумасшествием персонажа.

Кстати, у Чехова в той же «Душечке» есть и бездушная – почище набоковской – хохма насчёт сакрального перехода в небытие (мотивировкой служит телеграф):

«Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно *сючала* ждём распоряжений *хохороны вторник*».

Так и было напечатано в телеграмме «*хохороны*» и какое-то ещё непонятное слово «*сючала*»; подпись была режиссёра опереточной труппы.

Полное ХО–ХО по адресу покойника (с роскошной аллитерацией: *хохороны вторник*), звучащее даже немного по-простецки рядом с совершенно уже абсурдистским *сючала*.

А в «Человеке в футляре» Чехов прошёлся на ту же тему ещё откровеннее, лишь слегка прикрывшись персонажной маской рассказчика:

Через месяц Беликов умер. *Хоронили* мы его все, то есть обе гимназии и семинария... И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на *похоронах* и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что *хохлушки* только плачут или *хохочут*, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, *хоронить* таких людей, как Беликов, это *большое удовольствие*... Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии; никому не *хотелось* обнаружить этого *чувства удовольствия*, – чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, ещё в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, *наслаждаясь* *полною свободой*. *Ах, свобода, свобода!*

Тут и постепенно нарастающее ХО– (*хоронили, похорон, похоронах, хохлушки, хотелось*), под конец прорывающееся двусмысленным *хохочут*, и откровенно злорадное *удовольствие*, причём такое по-детски милое, невинное, вплоть до благородного

наслаждения свободой! (У Бунина где-то есть замечательная фраза, но никак не вспомню, где: *Подумаешь, тоже важный чин – покойник!*)

«Человек в футляре» – полнометражный рассказ, и законное желание увидеть героя мёртвым подогревается у читателя на протяжении десятка страниц. А в скетче «О бренности» апоплексический удар хватает пожирателя блинов уже по окончании второго абзаца (там всего 200 с лишним слов).

Радоваться чужой смерти нехорошо, но так естественно. Особенно, если от живого были одни неприятности.

Вот что, например, сказал, а точнее, пропел Сомерсет Моэм, когда получил известие о смерти нелюбимой бывшей жены, которой в течение двадцати шести лет после развода должен был платить алименты: *Tra-la-la, no more alimony, tra-la-la!* И его можно понять; труднее понять, зачем он на ней в своё время женился (брак длился 12 лет), предварительно отбив у богача-мужа, хотя сам был в основном голубым.

Шопенгауэр, напротив, принципиально не женился, но это не помогло. Однажды он спустил с лестницы скандальную соседку и был присуждён выплачивать ей пожизненное содержание по инвалидности (за сломанную ногу, хотя, как он утверждал, она повредила её нарочно). Тяжба длилась пять лет, двадцать лет он платил, а когда она всё-таки умерла, философ записал в своей книге расходов (по другой версии – на свидетельстве о её смерти): *Obit anus, abit onus*, «Отходит старуха, уходит время». Поэтический блеск этой латинской аллитерации (не уступающей верленовскому: *Il pleure dans mon coeur Comme il pleut sur la ville*), увы, полностью, как положено поэзии, пропадает в переводе.

И Шопенгауэр, и Моэм высказались о событиях своей жизни, но сделали это типично по-писательски. Авторский кайф как раз и состоит в безграничной власти над жизнью и смертью персонажей. Напрасно благонамеренные интерпретаторы пытаются отмазать Толстого от его прозрачного эпиграфа к «Анне Карениной»: *Мне отмщение и аз воздам*. А чего стоит иезуитское вымучивание у несчастного Ивана Ильича нужных автору слов: *Смерти не было?! Где не было? У кого не было?* Если мучить умеючи, то можно добиться поразительных результатов. Так, у Оруэлла дело вообще кончается тем, что *Он любил Старшего Брата*.

Бертрану Расселу (который, кстати, в своей «Истории западной философии» всю смакует историю со старухой) принадлежит ядовитый каламбур, не хуже шопенгауэровского: *Many people would sooner die than think*. В смысле: многие так не любят думать, что умирают скорее – то есть буквально раньше, – чем хоть раз о чём-нибудь подумают.

«Весна в Фиальте» кончается тем, что героиня гибнет – оказывается *смертной*, причём, как мог бы выразиться современник автора, *внезапно смертной*. Рассказчику её вроде бы жаль, но не очень, и мы его понимаем, поскольку она только что (в пределах того же абзаца) окончательно его отвергла. Ещё больше он порадовался бы смерти её спутников, но приходится с лёгкой завистью констатировать, что эти неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи. Впрочем, возможность констатировать, формулировать и коллекционировать (в частности, бабочек и подобных им героинь) остаётся за ним.

Poor Liza, poor Erast, lucky narrator, «Бедная/несчастливая Лиза, бедный/несчастный Эраст, счастливый рассказчик» – так озаглавила свою статью одна американская карамзинистка. Как писал поэт (по поводу осени):

..... Мне *нравится* она,
Как, вероятно, вам *чахоточная дева*
Порою *нравится*. На *смерть осуждена*,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах *увянувших* видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице ещё багровый цвет.
Она *жива ещё сегодня, завтра нет*.
Унылая пора! *очей очарованье!*
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье... и т. д.

Или, как советует Жорж Санд Жоржу Делакруа в фильме «*Impromptu*» (1991): *Go paint something dead!* («Пойди, попиши что–нибудь мёртвое!»).

Главное, чтобы мёртвый был не ты, а кто–то другой.

Не меня! Нет, не меня! – думает у Толстого солдат, ждавший, кого же поразит шипящее ядро.

Любовное свидание прикольнее *при мёртвом*, которого потом, перед рассветом, можно будет вынести под епанчою и положить на перекрёстке.

Маяковский упивается садистским вызовом: *Я люблю смотреть, как умирают дети*, а Булгаков доводит этот кайф до предела: *Вы когда умрёте?*.. и т. д. Издевательство оправдывается, естественно, несимпатичностью персонажа, но, в сущности, оно заложено в самой природе искусства.

[Н]еобходимо или сделать что–то [т. е., как правило, убить], или нет, или зная [что это твой родственник], или не зная. Из всего этого самое худшее – зная, намереваться что–то сделать, однако же *так и не сделать: это отвратительно...* Поэтому так никто не делает, разве что изредка... *Сделать что-то – это уже лучше. Ещё того лучше – сделать, не зная...*

Послушать со стороны – инструктаж у крёстного отца, а на самом деле – знаменитая 14–я глава «Поэтики» Аристотеля. Или ещё такой есть поэтический стёб – жаловаться на скудость рифм к слову *смерть*. Ну, *твердь, ну, жердь, ну, круговерть...* И это всё?!

Фокус в том, чтобы отстранённо отнестись к жизни как к литературному тексту. При этом хорошо, пока умирают отрицательные персонажи, то есть по определению – другие. *Смерть – это то, что бывает с другими* (Бродский). Вплоть до «других» в тебе самом.

Вот, например, умирает и без того неприятный во всех отношениях господин из Сан–Франциско:

Сизое, уже мёртвое лицо постепенно стыло, хриплое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещённого отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан–Франциско, – *его больше не было, – а кто-то другой.*

Классический вариант такого самоотстранения – полный и совершенно невозмутимый дуализм, и тогда души *смотрят с высоты* *На ими брошенное тело...*

Сократ в этой гипотезе, выражаясь по-лапласовски, не нуждается, но и он преодолевает страх смерти только тем, что софистически себя от неё отделяет: *Я не боюсь смерти. Пока я жив, её нет, а когда она придёт, меня уже не будет.*

Толстому же этого мало – он заставляет Ивана Ильича буквально радоваться собственной смерти:

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? *Страха никакого не было, потому что и смерти не было.*

Вместо смерти был свет.

– Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – *Какая радость!..*

Не убеждает. Просто, как уже писалось,

Он испугался, ваш граф, он струсил... Его религия – страх... Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры... (Бабель, «Гюи де Мопассан»).

Зато Лейбниц трезво строит всю философию на том, что каждая монада предпочитает существовать, а не не существовать, то есть быть, а не не быть, и побеждают (= остаются существовать в этом лучшем из возможных миров) самые конкурентоспособные союзы совместимых друг с другом монад.

Интересно, эту ли конструкцию – или только её шекспировские азы – имел в виду Зоценко, когда писал своё «Происшествие на Волге»? Там пароход по типично оруэлловским причинам несколько раз переименовывается, пока ему не присваивается имя Короленко:

Но можно не сомневаться, что это наименование так при нём и осталось. *На вечные времена.* Тем более что Короленко *умер.* А Пенкин был *жив,* и в этом была основная его *неудача,* доведшая его до переименования.

Так что тут *неудача* заключается скорей всего даже в том, что люди бывают, что ли, *живы.* Нет, пардон, тут вообще даже не понять, в чём кроется *сущность неудачи.* С одной стороны, нам как будто бы иной раз *выгодно быть неживыми.* А с другой стороны, так сказать, покорно вас за это благодарю. *Удача сомнительная.* Лучше уж не надо. А вместе с тем *быть живым* вроде как тоже в этом смысле относительная *неудача.*

Ну да, ну да, но неудача именно что относительная, и вообще Зоценко – это всё–таки, как бы сказать, юмор и сатира.

Честнее всех – и без ложной скромности – высказался, я думаю, Фет:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идёт, и плачет, уходя.

Нескромность иногда украшает человека. Но и нагличать тоже не надо. Вот, например, того, кто якобы сказал, что нет человека, нет и проблемы, самого давно уже нет. А проблемы, с ним связанные, очень даже есть.

Об узнавании

Недавно одна знакомая по телефону из Москвы пожаловалась на жестокость любимого внука. Она целый день его лелеяла, под занавес побаловала желанным петушком на палочке, но полностью дососать не дала, а завернула с собой – за ребёнком должны были вот-вот заехать родители и хотелось передать его с рук на руки в лучшем незамурзанном виде. Лишённый леденца, он надулся, стал припоминать накопившиеся за день обиды, наотрез отказался мириться и под конец заявил, что вообще её не любит, а любит только маму (т. е. невестку), ибо, отчеканил он, «Ты испортила мне жизнь».

Типа «Отлезь, гнида».

Сначала она страшно расстроилась и, рассказывая об этом по горячим следам, очень грустила, но через неделю в ответ на заботливый вопрос сообщила, что рана затянулась, всё в порядке.

Впрочем, она и в первый раз не стала заикливаться на фрустрации, а взглянула шире и – как истый филолог – констатировала феномен «чужого слова». Ведь малыш явно не сам придумал такое, а просто воспроизвёл услышанное, скорее всего, дома, и, значит, вот какие речи звучат в семье сына. Оставалось только установить, повторил ли внук всё слово в слово, включая женский род глагола, – за отцом или же творчески освоил слова матери, транспонировав реплику из мужского рода в женский применительно к бабушке.

Её рассуждения пробудили во мне рой филологических ассоциаций. И не только научных, но и личных, как если бы речь шла о чём-то близком.

Текст, действительно, при всей своей краткости богатый. Тут и чужое слово, и ребёнок, устами которого глаголет истина, и луч света, внезапно бросаемый на драму за сценой.

В других случаях ребёнок может в конфликт не вовлекаться – достаточно его невольных показаний. Как в анекдоте, где мальчик спрашивает:

– Мама, а парикмахерша – это очень большая рыба?

– Что за чушь ты несёшь?!

– Потому что я слышал, как папа говорил дяде Коле, что он поймал на пляже парикмахершу и ТРИ ДНЯ её жарил!..

Здесь ко всему добавляется внебрачный секс, окрашивающий фабулу в неотразимо вуайеристские тона. Вариаций на эту тему сколько угодно; вот, например, из жизни.

Коллега-лингвист рассказывал, как в Венгрии университет поселил его у молодожавой вдовы. Услышав, что гость из России, она похвасталась, что знает несколько русских слов, привезённых мужем с завьюженного Восточного фронта.

– Хе-леб, мала-ко, йай-ка... – произнесла она с деревянной правильностью, – и ещё одно очень странное слово, только он его не переводил.

– ??

– Щии-КОТ-наа, – старательно пропела вальяжная венгерка, и в её облике на мгновение проступили черты какой-то вертлявой рязанской хохотушки времён поистине *des neiges d'antan*. – Хотя вы скажите мне, что это такое?

Не помню, как он там вывернулся. История старая, я уже дважды её пересказывал.

Кстати, эротические обертоны не обязательны. Главная прелесть – в распахивании окна на далёкую повествовательную панораму. За сжатой словесной формулой вдруг вырисовывается нешуточный сюжет, истинность которого удостоверяют сами обстоятельства речевого акта. Налицо словесно–сюжетный троп: говорится одно, а обнаруживается совершенно другое.

Не сошёл свет клином и на человеческой памяти. В роли невольного свидетеля может выступить, например, попугай, точно воспроизводящий услышанное.

Взять хотя бы попку из джеймбондовского фильма «For Your Eyes Only» (1981), твердящего «АТАС to St.–Cyril's», выдавая таким образом, куда врагами английской короны был увезён бесценный прибор, похищенный ими для передачи КГБ и лично генералу Гоголю.

Нечто подобное есть у настоящего Гоголя, только там функции попугая берёт на себя собака. В «Записках сумасшедшего» Поприщин узнаёт, какого о нём мнения обожаемая Софи, из письма её собачки Меджи:

«Я не знаю, та chere, что она нашла в своём Теплове <...> Мне кажется, если этот камер–юнker нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папа в кабинете. Ах, та chere, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке...»

Какой же бы это чиновник?..

«Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папа всегда посылает его вместо слуги».

Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса как сено?

«Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него».

Врёшь ты, проклятая собачонка!..

Но собачонка, конечно, не врёт, поскольку её письмо – типичное бескорыстное свидетельство третьего лица, пишущего четвёртому. При перлюстрации писем (например, Хлестакова – Тряпичкину), чтении чужих дневников (как в «Мудреце» Островского), наконец, при случайном подслушивании чужих признаний (как в финале «Горя от ума») получаемая информация тем убедительнее, что не рассчитана на перехватчика и, значит, вот именно объективна.

Заметим, что во всех этих случаях чудесным образом обнаруживается не вообще какая-то информация, а именно языковая, вербальная: налицо устойчивый филологический акцент на языке. Перед нами излюбленные литературой метатекстуальные сюжеты. Литература вообще претендует быть истинным, пророческим, магическим Словом – и охотнее всего рассказывает о том, как такие слова работают.

Оглядываясь назад, я вижу, что об этом филологическом мотиве я, оказывается, уже писал, и неоднократно – в статьях, в виньетках, даже в рассказах. То ли, хочется надеяться, ввиду его центральности в литературе, то ли, страшно подумать, в силу какой–то неведомой личной фиксации.

Примеров куча, перечислять не буду, ограничусь одним из самых старых.

В моём любимом рассказе Бунина кульминацией повествования становится запомнившийся классной даме разговор Оли Мещерской с её подругой, в котором звучат слова «легкое дыхание». Они никак не привязаны к фабульному ходу событий, но наконец объясняют читателю смысл заглавия и суть Олиного характера:

– Я в одной папиной книге – у него много старинных смешных книг, – прочла, какая красота должна быть у женщины [... Я] многое почти наизусть выучила, так всё это верно! – но

главное, знаешь ли, что? – Лёгкое дыхание! А ведь оно у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю, – ведь правда, есть?

Теперь это лёгкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

Обратим внимание, как здесь оркеструется подтверждение магической формулы. Вопреки неадекватности классной дамы (это была «немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь») и несерьёзности источника формулы (одной из «старинных смешных книг»), «*всё это верно*» – и не только по мнению Оли, но и потому, что «*лёгкое дыхание*» физически демонстрируется ею («ты послушай, как я вздыхаю, – *ведь правда, есть?*») и принимается за бесспорную реальность всеведущим рассказчиком («Теперь это лёгкое дыхание снова рассеялось в мире...»), не говоря уже о читателе, который задним числом примеряет формулу ко всему предыдущему тексту (начиная с долго интриговавшего его заглавия) и она безупречно на него ложится.

Примерно это я и написал в давней статье, но мотива словесной магии тогда не выделил, да и в дальнейшем его сквозного присутствия в своих филологических занятиях не замечал. И вот недавно, под впечатлением от переданных мне слов малолетнего интертекстуала, испытал на себе самом тот шок внезапного узнавания, которым чреват этот мотив.

Мне всегда хотелось...

Комментируя для сборника памяти М. Л. Гаспарова его старые письма ко мне, я должен был заглянуть в свой посвящённый ему рассказ «НРЗБ» (1989), по поводу которого он писал:

И фантастическую пародию, и центон читал с истинным наслаждением <...> Признаюсь, что *знакомых мертвецов живые разговоры* я опознал лишь с помощью Пушкинского словаря, и что минимум один ямбический фрагмент (не буду его называть) не опознал до сих пор.

Преувеличенные комплименты коллегам и щепетильные признания в ограниченности собственной эрудиции (а ля Сократ) были в стиле М.Л. А проблемы с опознанием цитат сегодня практически сняты возможностями интернетного поиска. Но не откажу себе в удовольствии процитировать пассаж, привлёкший внимание М.Л.

А дальше так: Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот объяснение. Вот что удлинняет (или, наоборот, – сокращает? Шекспир–Пастернак–Пушкин, звезда с звездой, могучий стык!) нам опыты быстротекущей жизни... Знакомых мертвецов живые разговоры, знакомый труп лежал в пустыне той. Нет, как труп, в пустыне я лежал. В общем, Кавказ был весь, как на ладони, был весь, как смятая постель, спи, быть, спи жизни ночью длинной, усни, баллада, спи былина, хрр... храни меня, мой талисс... сс... сс...

Профессор спал. Ему снилась идеальная концовка: «С головой зарывшись в бесплотный шелест своего центона, профессор...»

Подстраничная сноска отсылала к статье «Центон» в Краткой литературной энциклопедии (1975), принадлежавшей перу Гаспарова; в ней среди прочего сообщалось, что латинское слово *cento* исходно значило «одеяло из разноцветных кусков».

Какой другой ямбический фрагмент он имел в виду, я не знаю, зато прекрасно знаю, какую скрытую цитату он не только не атрибутировал, но и не отметил в качестве вызывающей об атрибуции.

Структура последнего абзаца моего рассказа определяется литературным заимствованием, вряд ли вообще поддающимся обнаружению. Его зачин навеян заключительным абзацем «Старика и моря» Хемингуэя:

Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старика снились львы» (пер. Е. Голышевой и Б. Изакова).

Ситуация интересна с теоретической точки зрения. Чтобы исследователи моей прозы (если на секунду вообразить, что её будут изучать мандельштамоведческими методами) смогли идентифицировать этот подтекст (вполне сознательный) – какая исчерпывающая потребовалась бы информация о моём круге чтения и месте в нём и в моей жизни хемингуэевской повести или какая счастливая случайная находка?! Но так ведь, в сущности, и обстоит дело с нашей подтекстологией.

Моё похищение концовки у Хемингуэя диктовалось (в отличие от соседних цитат из Шекспира, Пушкина, Лермонтова и Пастернака) не расчётом на интертекстуальную браваду, а непосредственной выигрышностью использования чужой находки, но ещё больше – давним, затаённым и непреодолимым желанием произнести эти слова от своего имени, присвоить их, апроприировать и тем самым стать немножко Хемингуэем. Говоря очень просто, мне всегда хотелось написать «Старик и море», особенно его заключительный абзац.

На каком–то уровне такое желание вообще стоит за установкой на чужое слово. Вот начало одного текста Льва Лосева:

Мой дядя – мне всегда хотелось написать текст, который начинался бы словами «мой дядя», – итак, мой дядя попытался скрыть от моего отца начало Великой Отечественной войны...

У меня тоже есть такое признание – в разборе «Весны в Фиальте», посвящённом В. Ф. Маркову.

Мне всегда хотелось построить идеальное порождающее описание – целостное, как у Эдгара По и Эйзенштейна, железное, как у Проппа и Хомского, прозрачное, как у Ходасевича и К. Брукса. Кроме того, мне (как, наверно, многим) давно хотелось написать «Весну в Фиальте». Дарю её Вам.

Мне также всегда хотелось – и в конце концов случалось – сказать: «Пропустите, это со мной», «Follow that car!», «I'll have the usual» (в ресторане, где я завсегдаю), «Skinny old bitch, eh?» (из анекдота, где лорд застаёт свою старую жену с молодым любовником).

Вероятно, Пушкину всегда хотелось написать «Дон Жуана» (получился «Каменный гость»), сцену с яблоком из «Вильгельма Телля» (см. «Выстрел») и с Гамлетом, который не убивает короля, стоящего на молитве (там же). Возможно, не случайным был и зачин «Мой дядя...», учитывая наличие Василия Львовича, причём ещё живого.

В основном все эти покушения носят сугубо словесный характер. Мне не хотелось быть кем–либо из персонажей «Весны в Фиальте» (ни даже «прочного вывозного сорта англичанином» – прозрачно замаскированным Набоковым), а хотелось написать самый

рассказ, ну, если нельзя весь, то хотя бы его последние слова: «...оказалась всё-таки смертной».

Желание отождествиться с любимым автором иногда достигает гротеска – ведь именно им объясняется столько крови попортивший Василию Васильевичу Розанову брак с Аполлинарией Суловой, *femme fatale* Достоевского. Менее роковым, поскольку подражательным лишь на вербальном уровне, оказался союз Андрея Донатовича Синявского с частичной тёзкой – антропонимической дочерью его героя: Марьей Васильевной Розановой.

По крайней мере однажды я испытал нечто подобное.

На заре своей эмиграции, дорвавшись наконец до жизни в англоязычном мире, я завёл роман с женщиной по имени... имени, которое меня давно волновало. У неё было много достоинств, физических и интеллектуальных, в том числе богатый опыт жизни среди гарвардских хиппи и знание японского языка, но главным было всё-таки имя – позаимствованное её родителями, как она честно призналась, из хемингуэвской «Фиесты». Там есть на редкость простая, но раз и навсегда пронзившая моё сердце фраза: «И с ними была Бретт» («And with them was Brett»), так что участь моя была решена. У моей Бретт была и изысканная фамилия, посильнее Эшли, отдававшая придворным гламуром Людовика XV, но решил дело всё-таки Хемингуэй, фиеста, праздник, который всегда с тобой.

Возвращаясь от эроса к логосу, коего мы, впрочем, и не покидали, в общем, возвращаясь к филологии, повторю, что самое любопытное тут то, что бывают подтексты, которые вовсе не претендуют на опознание и комментирование, а напротив, хотели бы остаться втайне, являя собой не столько разменную монету в интертекстуальной игре, сколько сокровище, похищенное исключительно для собственного пользования и любования.

Но, если так, почему же меня давно подмывало раскрыть свою небольшую покражу у Хемингуэя – пока публикация писем Гаспарова не дала наконец для этого повод?!

ИЗ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» (2018. № 6)

Собственный компьютер

Это было больше полувека назад, в самом начале 60-х. Мы со Щегловым, недавние выпускники филфака МГУ, занимались в Лаборатории машинного перевода МГПИИЯ им. М. Тореза разложением смысла слов на элементы («семантические множители») и одновременно вынашивали свою порождающую поэтику, когда меня вдруг заметил сам великий Мельчук, предложивший работать с ним над моделью «Смысл – Текст». Оказавшись соавтором сразу двух выдающихся коллег, я был поражён обилием неожиданных аналогий между семантикой и поэтикой и с радостным возбуждением принялся переносить из одной в другую новейшие находки.

Юра и Игорь никогда толком не понимали друг друга. Юра с недоверчивой тревогой выслушивал мои реляции с мельчуковского фронта, а Игорь упорно сомневался в осмысленности филологических, как он выражался, печек-лавочек и в лучшем случае великодушно разрешал мне заниматься ими в свободное от серьёзной работы время. Он был старше, знаменитее, авторитетнее. Юра невольно чувствовал себя уязвимым, обойдённным, ревновал нас друг к другу.

Вскоре он отлил свои переживания в чеканную форму.

– Знаешь, Алик, меня иногда спрашивают, зачем ты понадобился Мельчуку. Я отвечаю, понятно, зачем: ему ведь всегда хотелось иметь собственный компьютер.

Юра был в своём репертуаре. Прежде всего, вряд ли кто-то его о чём-то спрашивал, а он кому-то что-то отвечал, – общение с народом он всегда сводил к минимуму. Его старательно выверенное *aperte dictum* было адресовано мне, его единственному собеседнику, мне он его и сообщил. Тем более, что оценить его, кроме меня, было некому. Я оценил – запомнил на всю жизнь.

Гадость, конечно, в частности потому, что враньё. Но какой класс!

Удар сразу по обоим: я предстаю машиной, бессловесным орудием в руках Мельчука, а Мельчук – бездушным манипулятором, любителем дорогих технических игрушек.

Гадость, слегка припудренная похвалой: компьютеры были передним краем науки, и все наши теории ориентировались на идею электронного моделирования, так что производство в ранг компьютера могло восприниматься как лестное.

Ядовитые слова о собственном компьютере звучали безудержной фантастикой. В те годы электронно-вычислительные машины, ЭВМ, были редки, громоздки, дороги и принадлежали большим институтам; чтобы получить право на дорогое «электронное время», нужно было заранее подавать заявку, и доступ к ЭВМ имели только сами компьютерщики, а не лингвисты, хотя бы и типа Мельчука. О персональных компьютерах никто тогда не слыхивал и помыслить не мог. Тем поразительнее злобная Юрина гипербола, в дальнейшем обернувшаяся пророчеством. Как это ему удалось? Видимо, что-то такое он с безжалостной пронизательностью прочитал в душе Мельчука, и задним числом лавры провидцев следует поделить между обоими.

Враньё же – потому, что электронно-вычислительными способностями отличался, конечно, не я, а Мельчук, меня ценивший, напротив, за языковое, прежде всего, семантическое чутьё. Компьютерную роль я играл как раз в нашем тандеме со Щегловым. Враньё, конечно, грубое слово. Это был типичный, как тогда говорили, «художественный свист», и вполне виртуозный.

Архетипическим образом удара одновременно по двум мишеням, причём под соусом похвалы, для меня всегда остаётся одна острота Тютчева.

Канцлер князь А.М. Горчаков (тот самый – «последний лицеист») сделал камер-юнкером некоего Акинфьева, в жену которого был влюблён. По этому поводу Тютчев заметил:

– Князь Горчаков походит на древних жрецов, которые золотили рога своих жертв.

Он сказал это по-французски (... *ressemble aux sacrificateurs anciens, qui doraients les cornes de leurs victimes*), но в переводе как будто ничего не пропадает.

А вопрос о том, какой я компьютер, занимает меня с тех пор постоянно. Ну, какой? Долговременная память явно небольшая, – знаю и помню я мало, зато оперативная память быстрая и эффективная, – то немного, что я знаю, я применяю очень лихо, иногда сам удивляюсь.

©Alexander Zholkovsky



**ЛЮБИТЕ КНИГУ—
ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ!**